



1989

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

მ. ქობულაძე

ალექსანდრე ბ. გომი

U. Bonif

5

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция получает множество писем от жителей различных городов Советского Союза с просьбой помочь им выписать наш журнал.

Сообщаем всем желающим стать подписчиками:

Подписка

на

**„ЛИТЕРАТУРНУЮ
ГРУЗИЮ“**

принимается

без ограничений

во всех отделениях

„Союзпечати“.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

К ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 9 АПРЕЛЯ
В ТБИЛИСИ

ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Я осуждаю жестокость.
Перевод Лианы Татишвили . 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

МУХРАН МАЧАВАРИАНИ. Стихи. Переводы
Юрия Даниэля, Александра
Еременко, Татьяны Бек,
Бориса Резникова . . . 6

НУГЗАР ШАТАИДЗЕ. Рассказы. Перевод
Левана Беджизати . . . 12

ДАЛИ ЦААВА. Из книги «Двенадцать каприччо». Стихи. Перевод Владимира
Еременко . . . 49

ГИВИ ОРАГВЕЛИДЗЕ. Гроза. Стихи . . . 54

ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Фантазия. Рассказ . . . 57

БУАЛО-НАРСЕЖАК. Среди мертвых. Роман.
Перевод с французского Алексея Дро-
здовского . . . 76

5

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси

Журнал выходит с июня 1957 года

К ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 9 АПРЕЛЯ
В ТБИЛИСИ



Из почты Союза писателей Грузии

154

ПУБЛИЦИСТИКА

РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Интернациональ-
ное без национального, или «интер» без
функций 158

К трагическим событиям 9 апреля в Тбилиси 203

ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТУРОВОЕДА

ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. «Тифлис» или Тбилиси? 218

Ваня
Роман
Содержание
Журнал
ОТ АР. ИЛИДЗЕ
Перевод Лияны Татуняни
Подписка
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
М. ХАЧАТУРИЯНИ. Стихи. Перевод
Л. Юрков. Давид У. А. Кавказ
В. Еремеев. Таракан. Бел.
Вориса Ревинков
НУТЧАР ШАТАМЕЗЕ. Рассказы. Перевод
Лияны Веджикян
ДАНИ ЦАВА. Не книга. Рассказ о том
Владимир Осишвили. Стихи. Перевод Вадим Кр
Иремеев
ВЛАДИМИР ОСИШВИЛИ. Стихи. Перевод
ВЛАДИМИР ОСИШВИЛИ. Стихи. Перевод
ВЛАДИМИР ОСИШВИЛИ. Стихи. Перевод
Перевод с французского А. Крестя Дро
Содержание

5

К трагическим событиям 9 апреля в Тбилиси

Отар ЧИЛАДЗЕ

Я ОСУЖДАЮ ЖЕСТОКОСТЬ

Я не уверен, окажет ли мое слово какое-либо воздействие на ваши души и разум, но и молчать не могу — в опасности завтрашний день, не чей-то отдельно взятый, а всей Грузии. Никогда еще, наверное, не было такой необходимости в чувстве и осознании нашего единства, осознании и анализе несчастья, в равной мере обрушившегося на наши головы. Всем своим существом я осуждаю ту нечеловеческую жестокость, тот варварский способ сведения счетов, то циничное безразличие к жертвам, свидетелями которых мы, к нашему горю, стали в ночь на девятое апреля. Эта ночь, очевидно, войдет в мировую историю как новая «Варфоломеевская ночь», а в нашем сознании останется вечной мглой — никогда не рассветет, как бы ни развивалась в дальнейшем наша жизнь. Нас не наказали, как, допустим, наказывают политических преступников, но в темноте, сутолоке истребили, словно, пресмыкающихся. А самая большая наша вина — стремление к свободе, ничего больше. Стремление же к свободе вообще — основное человеческое свойство, и нет в нем ничего ни непомнящего, ни неожиданного, ни из ряда вон выходящего и, что главное, выделяющего из прочих. Напротив, если что и делает нас схожими с теми счастливыми народами, что раньше других преодолели путь самопознания, самоутверждения, самосознания, то именно эта благороднейшая черта или потребность. Рано или поздно, этот путь должны пройти все народы и в том числе, конечно же, и мы. Но все дело в том, кто и как одолеет его — пройдет ли до конца, или застрянет на полпути, растеряется, за-

плутает, сойдет с дороги... Резкий переход из тьмы к свету чрезвычайно опасен: непривычный свет может так ослепить нас, что и малейшее препятствие окажется роковым, мы можем совершить такое, чего никогда не совершит слепой от рождения человек, ибо он от рождения же знает, что слеп, и подготовлен природой для жизни в вечной тьме. А наш долг — выйти из тьмы, преодолеть ее. Поэтому нам необходимо сейчас успокоиться, прийти в себя, собраться с силами. Наше сегодняшнее горе отнюдь не означает, что мы отрекаемся от своей цели или главной человеческой потребности. Цель остается той же, и поскольку она есть, надо поберечь и свои жизни, ибо одно обусловлено другим: без жизни нам не достичь какой-либо цели, а бесцельная жизнь не имеет никакого смысла. Если у человечества, несмотря на его нынешнюю безнравственность и лютость, действительно есть будущее, нашим потомкам, вероятно, будет очень трудно понять как политические, так и человеческие убеждения лиц, руководивших этим массовым убийством, тем более оправдать их. Для этого недостаточно и тех антисоветских лозунгов, которые отличались скорее наивностью, нежели прочностью и силой позиции. И все же мера наказания и на этот раз, как всегда, оказалась крайней. Такова, к сожалению, горькая правда. Такими видят нас другие — множество наших национальных бед признаны национальным криминалом. А происходит это потому, что с незапамятных времен мы окружены врагами и понять нас некому. На посторонний взгляд, мы не угнетенные, а угнетатели, не униженные, а унижающие. А ведь наша страна, пожалуй, единственная в мире, где любой беженец чувствует себя хозяином, просвещается на своем родном языке, молится в своем храме, получает духовную пищу в своем театре, в то время как ни Франция — символ свободы, ни Россия — знаменосец интернационализма не создали ничего подобного. Но, к несчастью, нас никто не понимает. И не надо обольщаться, посмотрим правде в глаза и в очередной раз укрепим в горе своем. Ни госпожа Тэтчер, ни господин Буш не будут радовать за нас. До нас никому нет дела. Хотя бы потому, что заступничество связано с определенным риском. Так было всегда. Поэтому сегодня мы должны защитить свою самобытность так же, как защищали до сих пор — не оглядываясь по сторонам и не обольщаясь пустыми надеждами, а углубляясь в собственную душу и прихлебывая горькую правду. Воистину с нами Бог, если мы и сегодня помним, что мы грузины, и сегодня можем пожертвовать собой во имя этого. Утрата родины — то же, что и утрата своей самобытности; к человеку, предавшему забвению могилу отца, первым повернется спиной его же сын; недостойного чело-

века не уважает ни враг, ни друг. Помимо всего прочего мы — творческий народ и не имеем права обрекать себя на гибель. Мы прошли немалый путь и должны быть терпеливее других. Да и Бог, чтоб хотя бы наши внуки, если уж не наши дети, очистились от незаслуженной ненависти, клеветы, прегрешений, навязанных нам безжалостной историей. Пусть хотя бы о завтрашнем грузине прозревший и помудревший мир скажет те слова, что по справедливости заслужили наши предки еще до зарождения многих передовых сегодня государств: учтивые, умные, милосердные, человеколюбивые, смелые, щедрые, великодушные... Наш путь тяжел, судьба у нас сложная, но мы тем не менее должны смириться с нею, впрочем это вовсе не значит, что мы не попытаемся сделать то, что должны сделать. Если следовать легенде, мы — потомки прикованного героя и от него унаследовали страсть разрывать всячески путы. Грузин — понятие не просто национальное, с определенной точки зрения это и наказание, что подтверждает вся наша история, но в то же время, к нашему счастью и к нашей гордости, понятие — грузин — никогда не было символом рабства, беспомощности, угнетенности, неприютности, поэтому мы никогда не вызывали ни сочувствия, ни жалости со стороны остального мира. В свою очередь остальной мир всегда видел в нас соперника, партнера или конкурента. Я имею в виду и такие крупные государства, которые имеют военные полигоны величиной с Грузию. Это же, прежде всего, призывает нас опять же к жизни, опять же к спасению. Лично я, если это имеет для вас какое-либо значение, жалости и сочувствию других предпочитаю зависть и злость. Поэтому давайте вновь без посторонней помощи, не обольщаясь пустыми надеждами, будем нести самую тяжкую и самую дорогую для нас ношу — свою самобытность. Как бы горько нам ни было, еще раз омоем наши вечно живые, вечно открытые, незаживающие раны; еще раз предадим земле, кто знает, в который раз, убитое, в который раз поруганное, презируемое тело нашего еще не расцветшего будущего; еще раз преклоним колени перед бездонной нашей могилой и еще раз поклянемся: никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не снимать с себя ноши, которую возложили на нас Бог и Природа-мать, не изменять пути, проложенному нашими благороднейшими предками, не упускать из виду цели, намеченной для нас нашими лучшими соотечественниками.

Передано по Грузинскому радио 11 апреля 1989 года.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ



* * *

Не коплю я эти слезы,
Для себя храня,
Если мне порой случалось
Предаваться им...
О Всевышний, если хочешь
Одарить меня,
Дай мне право: радость сердца
Отдавать другим.

И еще услышь, прошу я,
Клич призывный мой:
Раз уж зависть ходит рядом
С радостью людей,
Если вдруг меня высоко
Вознесет судьбой,
Чтобы не возникла зависть
К радости моей.

* * *

На землю с небес опустилось тепло,
И все в поднебесье глаза возвели,
И солнце, что в небо магнитом взошло,
Как гвозди, росу притянуло с земли.

Проносится стриж над лашурской волной,
Я в гору с Ламарой вдвоем поднялся,
Ткемали явился в рубашке одной,
Ламара пока что закутана вся.

Здесь хорошо...

Пасется стадо на траве зеленой,
А за травой — лес сплошной стеной.
Блеск на листве,

Главная редакционная коллегия по делам перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии готовит к печати сборник стихов Мухрана Мачавариани. Стихи, предложенные нашим читателям, взяты из этого сборника.

Росою увлажненной, —
Как не прийти, не впасть в восторг шальной!
Пасется стадо на траве зеленой,
Здесь нет печали — только благодать.
Блеск на листе,
Росою увлажненной,
Здесь хорошо и погребенным стать.

Перевод Юрия ДАНИЭЛЯ

Тот, словно кровь...

Тот, кто сподобился первым
Подрезать лозу,
Кто на коня
Изловчился накинуть узду:
Кто до прихода Христа
И до всяких мессий
Темное тесто
При свете костра замесил;
Тот, кто додумался
Лемех у плуга согнуть,
Первую книгу
В тугой переплет затянуть;
Тот, кто впервые
Руду растопил на огне,
Тот, словно кровь,
Обращается нынче во мне...

Что по Вселенной
Способно сравниться в цене
С этой божественной кровью,
Текущей во мне?!

Позор нам!

Живу, как все.
И только что не вою!
«Все перемелется». Но не моя тоска.
И жернова хрипят над головою,
И лупит молотильная доска.
Вот вижу:
Неуч гордо излагает
Какой-то бред — ему его вдолбили! —
И требует не только уваженья,

Он хочет,
Чтоб его еще любили!
Весь род людской в каком-то отупенье:
Друг перед другом пыжались упорно,
Кто лучше, кто изящней, кто проворней
Отделит содержание от формы!
О чем глупец беседует с тупицей?!
Две рожи их, заплывшие от жира,
Приятнее двум романтическим дурам,
Чем яркий блеск цветущего инжира!
Какой-то хам
Из области фольклора
Смакует непристойные куплеты:
Давайте пить и кушать — до запора,
Мол, этого не будет на том свете...
Позор нам!
Горе тем, кто нас растили!
Да если все мое предназначенье —
Питье, жратва и плюс пищеваренье,
Я предпочел бы, чтоб меня убили...
Нет, хуже — пуповиной удавили!
Живу, как все.
И только что не вою...
На мне уже живого нет куска.
То жернова хрипят над головою,
То лупит
Молотильная доска.

Перевод Александра ЕРЕМЕНКО

Поэт

Страна о рожденье его
Не трубила
(И это в ту пору
Естественно было).
Когда он родился,
Стояла весна
И все до единого были при деле:
Работали в поле с утра-допоздна,
Быков погоняли,
Пахали
И пели.
Родился —

И ладно!
В пределах села
Подобная весть потрясти не могла.
Придумали имя.
Он вырос не вдруг...
Пора за работу —
С мешком за спиною
Он послан на мельницу. Марш через луг
И дальше струящейся тропкой лесною.
Взглянул
На луну он
И обмер: луна!
Вселился талант огнедышащий
В тело...
Пылал он,
Но пламя не дальше окна
Виделось, —
Как если бы свечка горела.
Однако свеча
Оказалась ростком —
Все выше тянулась,
А не оплывала...
Была, как мизинец,
А стала тишком,
Как солнце огромное —
И воссияла!
Он сел на коня,
Возмечтав о полете,
И в небо помчался,
Не чувствуя плоти!
Преград не боялся,
Исполненный сил...
Вот только могилу
Не перескочил.
Достойного жизни —
Его схоронили
И долго стояли,
Скорбя у могилы.
...Как малый масленок, родился на свет он,
Никем не замечен.
Но — горем объята, —
Когда он земле был безжалостной предан,
Страна содрогнулась — какая утрата!

Вернуть бы тот день



Через денек-другой
из Тбилиси отец приедет!

Ложусь...

Меня укрывает тетя:

— Через денек-другой
из Тбилиси отец приедет! —

Что он мне привезет?

Наверное, все на свете...

Эх!

Вернуть бы тот день...

Все еще были живы —

и отец мой,

и тетя...

* * *

Когда тебя я проводил, —

Тянуло свежестью с опушки

И птичью песню сторожил

Трилистник, наостривший ушки.

Когда тебя я проводил, —

Был ветер с поля благодатен,

И солнце из последних сил

С землей прощалось на закате.

...Когда тебя я проводил...

* * *

Ухожу,

Чтоб и впредь никогда

Не расстались мы с общей судьбою.

Порываю с тобой потому,

Что тоскую по встрече с тобою!

* * *

Даны человеку уши,

Чтобы избыток чуши

Он пропустил мимо слуха —

Из правого в левое ухо!

Зачем ты тарачишь zenки

На всяческие оттенки —

Глаза нам даны, не скрою,

Чтоб их закрывать порою.



СЭДЛ
041935340
30320110330

А если коснуться носа, —
То жизнь его нам дала,
Чтоб он никогда без спроса
Не лез в чужие дела!

Перевод Татьяны БЕК

* * *

Мне повезло: я в нынешнем году
Чуть меньше месяца в Париже прожил.
И если вновь туда я попаду,
Я там пять-шесть знакомых лиц найду
И несколько знакомых улиц тоже...

И все же, краше всех мостов на Сене
И множества иных парижских дел,
Сказать по правде, было ощущение,
Испытанное мною в то мгновенье,
Когда в Тбилиси самолет мой сел.

* * *

Ни кровь, ни разум, ни чутье слепое
Не объяснят мне жизни никогда!
Ни с кем я не был ближе, чем с тобою, —
И больше всех людей ты мне чужда...

Перевод Бориса РЕЗНИКОВА



Рассказы

БЕС

Ну, от кого-кого, а от жены Каки ничего на свете скрыть нельзя было, и, в конце концов, прознала она и про это. Прознала—и уж, конечно, растрезвонила по всей округе. В деревне и без нее подумывали: неспроста сын Сосаны Кора шастает в проулок, где дом Соломнии, не след бы, да только рта никто не открывал. Сами вы небось слышали: на воре—грех, а указчик сверху свой кладет. Но, когда жена Каки окатила и одних, и других щедрым ушатом сплетен, втихомолку зашептались, засудачили, — громко-то кто скажет, ну, да ведь одна сплетня, известно, как снежный ком, с горы покотившийся, — по дороге новыми обрастает, вот и эта росла, росла и превратилась в такую лавину, что грозила захлестнуть не только сына Сосаны и красивую молодую вдову Соломнии, но и всю деревню.

Сама жена Каки никого уже не стеснялась и не унималась: хватит перешептываться, неужто непонятно, что эти бессовестные вытворяют, забыли и страх и совесть, такие-сякие — этот старый бугай Кора, которого бес в ребро ударил, жене его черное платье надеть бы! — и эта... ух, повыдирать бы ей волосья да привязать ее к конскому хвосту, подобрала старые мослы, что в землю класть впору, и кривляется, словно девчонка!

Бабы опасно прикрывали ей рот ладонью, озираясь—не показалась бы поблизости бедная жена Кору! Но жена Каки не была бы женой Каки, если бы кого-то побоялась или постыдилась! С утра день оглашался

1920.01.03.33

ее криками, и вы бы видели, как сверкали у нее глаза, как пылало лицо, как кривился рот со щетиной над верхней губой, а видели бы — так точно сказали бы: господи, да это же не женщина, а печь раскаленная! Однако Қора — неуклюжий, большерукий сорокалетний мужик, отец взрослого парнишки — вот-вот в армию возьмут — и еще троих младших ребят, и ухом не вел; по вечерам, вернувшись с поля и попрощавшись с бригадой, он устало поднимался в проулок, вставал под орехом и, скрестив руки на груди, с улыбкой смотрел на веранду двухэтажного недостроенного дома, всегда увешанную после дневных постирушек вдовы платьями, цветными и прозрачными нижними рубашками и чулками и еще черт-те каким женским тряпьем. Стоял он так долго и уже поздно в сумерках, когда проулок с мычанием запруживал вернувшийся с пастбища скот, а вышедшая на веранду красавица-вдова с суровым лицом снимала высохшее белье, засовывал руки в карманы и, повернувшись, уходил домой.

А жена Каки неистовствовала: не учите, уж я на них порчу-то наведу, с гульбой ихней покончу, поглядите на него — рот в ухмылке раззявил! Ох, знайте, мол: обуюсь в железные каламаны, возьму железный посох, дойду до главных и уж там управу на срамников найду!

В один прекрасный день вызвал Кору председатель, которого за глаза называли Надиршахом, в контору: дескать, жалоба на тебя поступила, с вдовой Соломнии любишься. Придя, Қора снял шапку, почесал ею затылок и, улыбнувшись, глянул на председателя.

— Чего глядишь? Правда это? — грозно спросил председатель.

— Не знаю... Однако слышал ведь — и кошка на царя посмотрела...

— Белены объелся? О ребятишках своих забыл, ослиная твоя башка?!

— Нет. Да только посмотрела даже кошка на самого царя, — а уж я на тебя...

— Вот заладил! Кошка — на царя, царь — на кошку!.. — вконец разозлился председатель. — Қоли говорят тебе что-то, слушаться надо! — он постучал по столу указательным пальцем. — С завтрашнего дня соби-

райся-ка, в горы пойдешь с завфермой, Торе, знаешь ведь его!

— Да чего мне в горах делать-то?

— А чего хочешь. До тебя ли мне сейчас? День один, а жалоб вон сколько!..

— Это кто ж там жалуется, а? Люди-и! — вдруг зарычал Кора — председатель в испуге подскочил и опрокинул стул. — Ух, погоди у меня, Какина женушка! — Заколотив кулаком в грудь, Кора устремился к двери и рванул ее — так, что аккуратно сложенные на столе председателевы бумаги разлетелись и закружились по комнате.

А Кора уже бежал по проулку. Завидев его, разлегшийся в грязи боров вскочил и, сорвав цепь, с воем бросился наутек, рывшиеся в навозе куры закудахтали и повзлетали на сложенную из плоских камней ограду, а пятнистая овчарка Домбури, поджав хвост, шмыгнула в конуру.

Жена Каки, подвернув подол, пропалывала грядку с луком.

— Ой-ой! — жена Каки разогнулась, оправила платье и стянула рукой расстегнутый ворот. — Спьяну своего беса увидел, чудище?

— У-у, покажу я тебе и беса и бога, сплетница чертова!

— Постой, Кора! Никак, ты меня не видишь? — Кака — вообще-то он был Валико — оказался здесь же, рядом — опрыскивал в саду яблони. Сняв со спины аппарат, он поставил его на землю и подошел к Коре.

— Валико, образумь бабу! Иначе прольем мы кровушку!

— Ты чего это?! О чем он, жена?

Жена Каки молча поправляла косынку.

— Чего она, ровно лиса, в контору пробирается? Чего на меня жалобы туда таскает?

— Тебя спрашиваю: о чем это он?

Позеленев, жена Каки уперла руки в бока и завизжала:

— О дури своей, вот о чем! Аль не видишь — он, поганец, бабий прихвостень, всех такими же, как он сам, прохиндеями выставить хочет! Это я — жалобщица? Что ты ко мне в дом прешься-то? Нужны вы мне больно — и ты и твоя маруха, разрази вас гром обоих!

— Чем я тебе, дьяволица, насолил?! Знаю ведь, никто на такое дело, окромя тебя, не сподобился бы!

— Сосе-еди! — завопила жена Каки. — Услышите, что он несет, окаянный, как на меня поклеп возводит, стервец этакий! Подожди, дай срок, я не я буду, коли тебя перед всей деревней на чистую воду не выведу!

— Иди в дом, жена! — рывкнул Валико, блеснув желтыми клыками.

— Ой-ой-ой! Валико, родимый, да нешто будешь его, негодника, слушать, нешто он того стоит? Пошли, миленький, пошли!

Кора еще некоторое время смотрел вслед уходившим в дом мужу и жене, потом смачно сплюнул и быстро зашагал прочь.

* * *

Было далеко за полночь, когда в ворота вдовы Соломнии скользнула тень мужчины и быстро пересекла двор. Кто-то на цыпочках поднялся по каменной лестнице и тихонько постучал в выходившее на веранду окно. В комнате зажегся мягкий розовый свет; через несколько минут в ночной тиши звякнул ключ и скрипнули двери.

Едва мужчина исчез в приоткрывшихся дверях, как внизу в проулке от ореха отделилась другая тень — на этот раз женская и, погрозив зардевшемуся окну кулаком, пустилась бежать вниз по проулку.

Наверняка вы уже догадались, кто была эта женщина. Ну конечно же, жена Каки!

Вскоре вся деревня проснулась — окна осветились, слышались голоса мужчин, смущенное хихиканье женщин, лай собак и поспешное хриплое кукареканье петухов, решивших, что уже утро. Жена Каки перебежала из одного двора в другой, разъяренно размахивая кулаками и надсаживаясь — до сна ли, мол, люди, когда мир рушится, и доколе же терпеть безобразие?! В конце концов она вытащила на улицу... ну, положим, не всю деревню, но с десятков любопытных баб, зябко кутавшихся в шали, и двух-трех мужиков с фонарями в руках, отправила их к дому вдовы, а сама забарабанила кулаком в незапертые ворота Кору.

Жена Кору не спала, напряженно вглядываясь широко открытыми глазами в темень. Услышав стук, она

встрепенулась, быстро набросила на себя бумазейный халат, открыла дверь и, увидев на пороге успешную поднятаться незваную гостью, тревожно спросила:

— Да в чем дело-то?

— Кора где у тебя?

— Господи, он же в горы еще утром ушел! Что случилось?

— Ох, несчастная, — заголосила жена Каки, царапая щеки ногтями, — не в горах он, а в кружевных простынях вдовушки Соломнии катается!

— Не дожить бы мне до этого! — ахнула жена Кору и вскинула брови кверху.

— Что делать, бедняжка ты моя, — сколько я их предупреждала, стращала, сколько просила, ан нет, не помогло, не послушались, а теперь, вон, все село собралось! Камнями закидают обоих!

— О-о, горе мне! Ой, семья моя опозоренная! — закричала жена Кору, лихорадочно застегивая халат.

Скоро она торопливо шла вслед за женой Каки, ведшей ее к дому вдовы.

Собравшиеся там таращились на светившееся окно: при виде женщин они засуетились, расступились, давая дорогу жене Каки и косясь на побледневшую, съезжившуюся поодаль жену Кору.

Догадавшись, что все ждут, что она скажет, жена Каки замешкалась, ругнула себя в душе — и зачем, мол, потащила за собой эту дуру, затем затесалась среди сельчан и тоже уставилась на окно.

— Что делать будем? — шепнула ей в ухо жена Бацацки Машо. — До каких пор так стоять-то?

— Подождем еще чуток... — неуверенно пробормотала жена Каки и покосилась на жену Кору.

— Ээ, чего ждать-то? — рассердился долговязый, успевший хлебнуть чачи Читуа. — Перебулгачила нас всех среди ночи, подняла с постелей да еще тут держишь!

— Да кто тебя силком сюда вел-то?

— Что-о? Да не ты ли над душой стояла, прямо за глотку ухватила — пошли, мол?! — загалдели другие.

— Ладно, будет тебе, не до того сейчас!

Внезапно все умолкли и снова выпучили глаза на окно — в нем погас свет, и веранду окутала тьма.

Долго молчали, затем кто-то прыснул, и жена Гугу-

лы, замахав темному окну руками, разразилась пререканиями:

— Ох, сгореть бы вам, бесстыдники!

Читуа нагнулся, пошарил по земле руками, поднял большой камень и запустил им в окно. Послышался звон разбитого стекла, женский крик, и сразу же по всей деревне вновь поднялся тарарам — снова залаяли собаки, опять вспыхнули окна, раздались голоса; женщины возле дома вдовы придвинулись к двору, мужчины осветили фонарями веранду.

— С той стороны заходите, с той! — орал Читуа. — Оттуда чтоб не улизнул!

Несколько женщин и один из мужчин с фонарем побежали за дом, к огороду и увидели, что кто-то, выскочив из дому, пытается скрыться.

— Вот он! — завопила Машо.

— Держите его!!

Бабы, толкаясь, бежали следом, одна поскользнулась на политой с вечера грядке капусты и упала, остальные настигли убежавшего в самом конце огорода — он уже перелезал через высокий забор, но его ухватили за ноги и стянули вниз. Подбежали другие; две дюжины рук вцепились в отчаянно барахтавшегося беглеца. Истомившиеся в долгом ночном ожидании, обезумевшие бабы не давали ему подняться, с воем колотя его кулаками, в кровь царапая, дергая за волосы, раздирая на нем одежду, — каждая, как умела, вымещала на пойманном что-то неизбежно свое, глухо жегший душу пламень обманутых надежд и тоскливой бабьей доли.

Растолкав обеспамятевших в злобе баб, Читуа встряхнул беднягу, судорожно втянувшего голову в плечи, поставил его на ноги, осветил ему лицо фонарем, отскочил назад, оглянулся и, выискивая глазами в толпе жену Каки, подозвал ее:

Через пару шагов жена Каки почувствовала, что у нее подгибаются колени, и замерла.

— Узнаешь? — спросил Читуа и снова осветил затравленные, как у попавшей в капкан лисицы, глаза схваченного.

Узнала жена Каки — как ей было не узнать — своего дорогого муженька Валико! Смотрела, смотрела на него и там же, где стояла, опустилась на землю. Все молча глядели на нее, забыв и о случившемся, и о том,

как тузили Валико. И он, вываленный в грязи, окровавленный, воспользовался этим — неслышно отступил в сторону и, почувствовав себя в безопасности, дал стрелкача.

Да никто и не обратил бы на него внимания — собравшиеся все еще неотрывно смотрели на его жену, а потом стали понемногу расходиться, и скоро вокруг нее никого не осталось. Только на дороге, словно поджидая ее, стояла жена Коры; выбравшись из огорода и тяжело волоча ноги, жена Каки подошла к жене Коры, и, когда та с затаенной гордостью обняла ее и ласково прошептала: «Что ж поделаешь, соседка, — седина в бороде, а бес в ребро... И на старости лет учись!» — вздрогнула и истошно, навзрыд заплакала.

БРАТЯ

— Крр, крр!!! — облезлая, иззябшая за зиму ворона сидела, распустив крылья, на одном из кольев изгороди и каркала.

Младший брат нагнулся и поднял пестрый камешек, но и ворона оказалась не промах — взмахнув крыльями, она перелетела на старое ореховое дерево. Мальчик проследил за ней, выбросил камень за изгородь и снова взялся за лопату.

Было солнечное и теплое апрельское утро, и повеселевшие воробьи радостно носились по черным ветвям высохшей, задуплившейся сливы; притаившийся в тени изгороди дрозд внимательно наблюдал за работающими.

Из города они выехали утренним автобусом. Отец укрепил расшатавшиеся черенки лопат, оставив сыновей в огороде, — вас, дескать, двое, я один, да посмотрим, кто раньше кончит! — а сам ушел в виноградник. Мальчики смеялись — посмотрим, посмотрим! — и оглядывали казавшийся крохотным, с ладошку, участок. Решили: что же тут возиться, через час все будет готово. И в самом деле, сначала острое лезвие лопаты легко вспарывало землю; мальчики весело перекидывали большие комья, ярко сиявшее весеннее солнце приятно пригревало, и над землей поднимался теплый душистый пар. Но затем работа пошла медленнее; лопа-

ты словно потяжелели, и когда на ладонях появились мозоли, мальчики поняли, что все не так-то просто... Сейчас они все чаще останавливались, чтобы перевести дух, озабоченно поглядывали на огород, убеждаясь, что, оказывается, сделали пока очень мало, а земли еще вон сколько... К тому же оба сильно проголодались — утром, спеша на автобус, наспех выпили чаю, проглотили по бутерброду и помчались на станцию, а сейчас в животах урчало, но делать было нечего, надо было дожидаться отца...

Появился сосед — желтолицый зобатый мужчина и, облокотившись на изгородь, уставился на братьев. Те молча работали; обоим очень хотелось, чтобы мужчина поскорее ушел, и тогда можно было бы снова сделать короткую передышку, перекинуться словами. Но сосед не отошел, пока не выкурил сигарету до фильтра, не бросил ее на землю и не примял носком ботинка, а потом внезапно исчез.

Мальчики облегченно вздохнули, но тут к изгороди подошла сгорбленная старушка в черном платье. Она долго разглядывала братьев, а потом окликнула их:

— И что ему, ребятки, от вас нужно было, а? Что глаза паялил? Ох, отец ваш хоро-ош — и зачем вас тут мучиться заставил?

Братья оперлись на черенки лопат, хмуро глядя на старушку, но, когда увидели в ее глазах сочувствие и ласку, им вдруг стало нестерпимо жаль самих себя...

— Дай бог вам, ребятки, здоровыми вырасти!.. — Старушка покивала головой, потом повернулась и тоже исчезла, словно растаяла на дороге.

Мальчики продолжали работу. Ступни их ног стерлись и горели, с лиц стекал пот, болели руки, но они упрямо перекапывали землю, стараясь как можно меньше думать об отдыхе.

Проскакавший мимо некоторое время спустя, словно кузнечик, человек с костылем, увидев мальчиков, впери в них глаза, а потом неожиданно завопил тонким голосом:

— Вы что здесь делаете?!

Братья переглянулись.

— Кто ж так быстро перекапывает? На что вас завтра хватит?

Старший, сплюнув, стал копать дальше.

— Не слышишь, парень, что ли? Не так лопату держишь! Тебе говорю! — не унимался одноногий, однако, видя, что его не слушают, поскакал дальше.

Младший посмотрел ему вслед, вытер пот со лба и стал разглядывать вздувшийся на ладони розовый волдырь.

— Давай работай! — прикрикнул на него старший брат, но мальчик воткнул лопату в землю и сел, прислонившись ныншей спиной к стволу яблони.

Сердито отвернувшись, старший поработал немного, но потом и он сел рядом с братом, поставив лопату между ногами.

Издали доносилось тарахтенье работавшего в поле трактора, над обметенными белым цветом вишневыми деревьями жужжали пчелы... Необычная блаженная тишина исходила от рыхлой земли, потрескавшейся коры яблони, цветков вишни, и, прижавшись плечами друг к другу, братья всем телом впитывали в себя эту непривычную, чарующую, расслабляющую тишину. Радостно и безмятежно улыбаясь, они оглядывали неподвижные деревья вокруг, только что зазеленевшие луга на дальних горах и дома под красной черепицей, из которых невидимо струились тепло и легкая, спокойная грусть.

Вдруг младший мальчик вытянул шею, прислушался и жадно потянул носом воздух: откуда-то донесся кисловатый, аппетитный аромат свежеспеченного хлеба. Мальчик вскочил и огляделся:

— Хлеб пекут! Слышишь?

— Ну и что? — пробурчал старший. — Лучше за работу принимайся, хватит отдыхать! — И, потянувшись, взялся за лопату.

Какое-то время работали молча.

Потом младший, которому невыносимо жгло ладонь, отнял руку от лопаты, посмотрел на нее, провел ногтями по коже и сорвал волдырь. Лицо его скривилось от боли, но он не издал ни звука и только неотрывно смотрел на влажную пунцовую ранку.

Старший брат продолжал перекапывать.

— Посмотри! — тихо позвал его младший.

— Что там у тебя?

— Волдырь лопнул...

— Давай-давай, работай!



04.03.59 20
3032010033

— Как же я работать буду? Ведь болит!

Старший насупил брови:

— Говорю — работай, а то получишь!

— Не могу, — жалобно ответил младший брат, едва сдерживая слезы. — Сказал же, что болит очень!

Старший мальчик хотел стукнуть брата по затылку, но тот, увертываясь, откинул голову назад, и удар пришелся ему по лицу.

В тишине вдали снова послышался шум трактора.

С расширенными глазами мальчик молча смотрел на старшего брата, затем бросил лопату, повернулся и побежал.

— Погоди, я ж не хотел! — закричал старший, но тот перелез через забор и скрылся из виду.

И сразу же из поределой кроны ореха вылетела недавняя ворона и снова взгромоздилась на кол. Оставшийся один, старший зло взглянул на ворону, нагнувшись, схватил несколько больших, с кулак, комьев и запустил в нее ими, но комья рассыпались в воздухе, не долетев до кола. Ворона взмыла, надменно помахала крыльями и с карканьем уплыла за зеленую верхушку сливы.

Старший мальчик, потоптавшись, снова взялся за лопату. Перед глазами у него стояло бледное лицо и горящие глаза брата; в то же время он чувствовал, что совесть перестает грызть его; сердясь, он изо всех сил налег ногой на лопату и стал копать, выбрасывая вверх здоровенные комья земли.

Вновь показавшийся за изгородью зобатый человек, увидев, что одного из мальчиков нет, озадаченно уставился на старшего. Так он стоял долго, потом неслышно отступил назад и пропал.

Солнце подошло к полудню. Сквозь густой зной было слышно жужжание рассеявшихся, наконец, на белых цветках вишни пчел; в чьем-то дворе не переставая кричал индюк, лаяла собака... Из-под изгороди осторожно вышагнул прятавшийся там до сих пор дрозд и, расхаживая по разрыхленной земле, принялся искать червей. Откуда-то прилетели красавицы-синицы и сразу повели себя не так робко, как дрозд, — бойко запрыгали с одного кома на другой, беспрестанно то там, то сям вонзая клювы в землю. Мальчик копал и искоса, стараясь не спугнуть, посматривал на птиц: так близко он

их — и дрозда, и этих нахально вертевших глазками синиц — еще никогда не видел.

Потом снова появился человек-кузнечик и, встав поодаль, опять принялся за свое: гляди, мол, да они до сих пор не кончили! Подобравшись поближе, он перегнулся через изгородь и оглядел огород, не переставая приговаривать: «И чем это вы тут занимаетесь, земли с пятачок, а перелопатить никак не можете!»

Крепко сжав губы, старший брат продолжал работать, по-прежнему выворачивая большие комья.

— Что же ты делаешь, парень, ведь эдак лопату ломаешь, слышь! — снова кричал одноногий, суетясь и пританцовывая при этом так, словно собирался перемахнуть через изгородь.

Мальчик работал, не поднимая головы, тихонько стараясь копать так, как указывал одноногий — брать лопатой повыше, при этом вовремя надавливая на нее ногой.

— Вот так, так! — обрадованно закричал одноногий. — Ногой подсоби, ногой! Где второй-то? Небось сбежал? Эх вы, городские!..

Мальчику стало смешно, но он не оглядывался на одноногого, который еще покричал, покричал, а потом опять пропал — видно, и свои дела вспомнил.

А старушка так больше и не пришла... Зато припорхнул, шурша крыльями, пестрый угод — голова гребешком, посидел на камне и снова улетел.

Удивительно, но сейчас лезвие лопаты уже легче входило в землю; пот высох, и ладони больше не жгли. Работалось спокойнее, размереннее, и, гордясь собственной ловкостью и проворством, мальчик ощутил необычную легкость. Оглядев участок, он не поверил своим глазам: осталось перелопатить лишь узкую полоску шириной в пару шагов! И, дойдя до нее, он, наслаждаясь, перекопал ее неторопливо и со степенной аккуратностью истого крестьянина.

Уже перевалило за полдень; воздух был по-прежнему напоен сгустившимся пряным зноем. Мальчик стоял, глядя на перекопанный почерневший огород, и чувствовал, как шумно раздуваются легкие и кровь приятно разбегается по телу. По-прежнему парилась прогретая жарким апрельским солнцем земля, вывороченные комья подсыхали и уже посерели. Растревоженные

зном синицы улетели, дрозд снова укрылся в теши изгороди и выглядывал оттуда с разинутым от духоты клювом; замолк трактор, и даже стихло журчание пчел. Над всем пролегла тишина, и в этой тишине мальчик услышал робкие шаги младшего брата...

Не повернув головы, старший сразу догадался, что это он. «Отлупить бы его как следует!» — радостно подумал он и сразу нахмурился, стараясь быть суровее, но, когда скрипнула калитка, оглянулся и раскрыл рот от удивления: младший держал в руках хлеб и сыр.

— Ты что принес?

— Хлеб, не видишь... — тихо ответил младший, держась от брата на расстоянии и глядя на перекопанный огород.

— Иди, иди сюда, не бойся...

Мальчик смело подошел ближе, сел рядом, разломил хлеб и сыр пополам и молча протянул половинки брату.

В лицо старшему вкусно пахнуло печеным; улыбнувшись уголками губ, он спросил:

— Ты где это взял?

— Достал, значит... — буркнул младший, уже жуя хлеб.

Съели все быстро. Младший брат стряхнул со штанов крошки, встал, взял кувшин со щербатым носиком и вышел на тропинку. Старший мальчик сидел и смотрел на спину младшего, его крупную голову на маленьких худых плечах, и сквозь ноющую боль в руках, ногах и спине проступала непонятная и гордая отрада.

Прошло время, мальчики выросли, взялись за щершавые и жесткие гужи жизненной ноши, и, хотя многие воспоминания детства поблекли, если не совсем исчезли из их памяти, они не забыли вкус того горячего хлеба, с запахом которого впервые вдохнули в себя неостывающее тепло соленой и радостной любви друг к другу.

БУЙВОЛИНОЕ МАЦОНИ

Деревня была большая, а буйволов держал один Пандре. Сейчас их уже и в помине нет—то ли он их на базаре продал, то ли на бойню отвел, уж не знаю, но история эта случилась, когда они еще были...



Славная животи́на эти тудяги буйволы, добрые и очень послушные. Правда, в кеври их не запряжешь — медленно тянут и неуклюже, но ведь и кеври давным-давно исчезли. Зато вот молоко буйволиное!.. А какое из него масло сбивают! Но главное — это мацони: жирное, упругое, хоть ножом режь.

Мацони все любят, а особенно его любил председатель — Надиршах, как с ехидцей называли его за глаза сельчане, и Пандре не был бы Пандре, если бы вовремя не подсмотрел председателю слабинку, да ведь и само мацони было объедение — душу отдашь, а съешь. Словом, дня не проходило, чтобы вечером Пандре не спрашивал у жены: ну, заквасила уже?

И вот, едет однажды утром наш Пандре верхом на лошади, везет председателю буйволиное мацони, глиняные горшочки бережно к груди прижал — ребенка такой не берет бы, и повстречался ему Краюшка, односельчанин, прозванный так за малый рост.

— Куда собрался? — спрашивает, а у самого ухмылка по лицу расплзается.

— В Ерусалим еду, грехи замолить.

— На добрый путь встал! А слышал, что вчера, на собрании, с трона скинули твоего Надиршаха?

— С какого трона, ты что мелешь?

— С какого, с какого — сняли его, и все!

Пандре смотрел, смотрел, потом повернул коня, огрел его плетью — и давай домой.

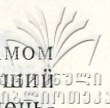
Краюшка стоял и давился от смеха, изгибаясь, и еле сдержался, когда Пандре, натянув уздечку, остановил коня и оглянулся:

— А не врешь, ты, обезьяна?

— Да порази меня господь!..

Оцепеневший Пандре еще долго не двигался с места и только, сморщив лоб, глядел на преданно смотревшего на него Краюшку, потом пришпорил коня и, сгорбившись в седле, тихо поехал дальше.

— Мацони-то куда тащишь, а? — неудержимо хохотал ему вслед Краюшка, но Пандре уже ничего не слышал.



Прошло немного времени, и председателя в самом деле сняли. На его место пришел новый, тоже хороший мужик, не дурак покутить, любивший мацони не меньше прежнего — да и кто не любит поесть на похмелье холодного, с густо крошенным хлебом, буйволиного мацони, только буйволов — надежных, покладистых работяг — в той деревне уже ни у кого не было.

ГРЕШНИК

Старик проснулся рано. Он лежал, завернувшись в одеяло, и слушал, как вытекает тепло из стынущего тела. Голубая печальная мгла, пригнанная ветром, растекалась в ущелье, и в слабом сознании оседали наплывшие с ней обрывки далеких воспоминаний. Назад, в уголки памяти отступали далекие голоса, все постепенно бледнело, и вокруг царили пустота и затишье.

На дворе закричали петухи, залаяла в последний раз на поблекшую луну собака и защebetали рассеявшиеся на тутовом дереве воробьи. Уже совсем рассвело. Деревня просыпалась. С улицы ворвался хриплый голос бригадира Шакрии, ревел скот, бранилась жена Каки, где-то нетерпеливо хрюкал, требуя корма, поросенок, и протарахтел направлявшийся в поле трактор.

Наверху тоже проснулись. Чуткое ухо старика слышало сопение сына — верно, натягивал сапоги, стук упавшего на пол какого-то предмета, топот босых детских ног. Наконец со двора послышался голос невестки, звавшей дочку.

Потом, когда все стихло, со скрипом распахнулась дверь, и невестка вошла в комнату. Не шевелясь и не подавая голоса, старик ловил шаркавшие звуки тапок и запах кипяченого молока. Женщина поставила миску с молоком на столик возле кровати и накрыла ее газетой.

— Ты что-нибудь хочешь, Миха?

Старик пожевал губами и чуть повернул голову.

— День сегодня какой?

— Среда.

Женщина вышла из комнаты. В распахнутую дверь влетел пронзительный петушиный клич. Старик лежал на спине. На голове у него была потертая кахетинская войлочная шапочка; из-под испещренного латками одеяла, натянутого до подбородка, виднелись только щетинистые щеки и глаза с бельмами. Старик думал о ночном сне. Перед глазами была женщина, прижавшаяся к железной ограде, с обезумевшим лицом, с худыми трепещущими плечами и протянутыми через ограду тонкими руками, в ушах стоял ее отчаянный вопль — «Не оставляй меня здесь, Миха, заberi меня отсюда родимый!». За спиной женщины маячили дурашливые лица умалишенных, слышались хихиканье, свист, мяуканье. Потом все ушло, но до слуха доносились далекий беспомощный крик, уже не имевшие никакого значения слова и жгучими клеймами прирастали к сердцу и мозгу.

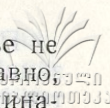
Старик приподнялся на постели и сидел так какое-то время, вперив невидящие глаза в висевший на противоположной стене портрет в черной раме, а потом отчетливо разглядел церковь и укрывшееся за сухими буками маленькое кладбище.

Он был совсем один.

Старик медленно оделся, опустил ноги в резиновые шлепанцы и ухватил палку, потом нашарил миску и отхлебнул остывшего молока. Опираясь на палку, он походил по комнате, нашел дверь и спустился к навесу. Между перилами и тутовым деревом протянулась бельевая веревка, и он пошел, держась за нее и чувствуя удивительное успокоение от прикосновения к ее ворсистой поверхности. Стуча палкой, он осторожно прошел шагов двадцать, дошел до скамейки под деревом и, кряхтя, сел...

Так он сидел долго, сложив большие, мозолистые руки на набалдашнике палки, потом, поискав рукой под деревом, нашел кувшин, поболтал им и поставил себе на колени. Внутри было немного, с полкувшина, вчерашней воды, он отпил ее, нагнув голову и морщась.

Вновь тихо надвинулся предрассветный сон, и опять виднелся обнесенный высокой железной оградой двор; будто сдавило горло чем-то вязким, тело оплывало тяжелыми сгустками, стекало куда-то книзу, постепенно исчезая, и явственно донеслись из памяти кем-то ска-



занные слова: «Другим дурочка на потеху, а семье не до смеху!». Услышано это впервые им было так давно, что он весь сжался; из облившей его волны воспоминаний вдруг словно вынырнул низкий домишко с плоской крышей, раскинувшийся за овином ток, запряженные в кеври быки Вашла и Гвиния... Вспомнились уставший от работы отец, худой и грустный, и мать — рано постаревшая, большеукая, вспомнился голос матери и ее смех, смех!..

А еще Кита и Закара — мальчишки-погодки, славные, любимые, и Анна — худенькая, с облупившимся носом девочка, всегда напевающая и смотрящая куда-то вверх — словно вот-вот взмахнет крылышками и полетит. Анна — вся в мать, только будто и не сестра она Ките и Закаре — просто впорхнул зимой озябший от стужи воробышек в комнату и остался, свил гнездышко у очага...

Старик долго сидел с вытянутой шеей, как бы что-то высматривая у края темневшего за деревней леса, и его правая рука в коричневых пятнах, лежавшая на горле кувшина, чуть заметно дрожала, а из затемненных куточков памяти одна за другой выступали давно забытые смерть отца, потом матери, окровавленные головы Вашлы и Гвинии на ивовой циновке, и вот Анна — вылитая мать, но в чем-то другая, непохожая на нее — тихая, бродящая по полям, с ромашками, вплетенными в соломенные волосенки, и непонятная, чужая...

Затем перед глазами встало: склонившийся к за гривку тонкорогого бычка и сморщивший лоб Кита, сгорбившийся под хурджином, еле стоящий от усталости Закара и съезжившаяся под кукурузными листьями в арбе тихо что-то напевающая Анна... Увидел он и себя, прислонившегося к подпиравшему навес столбу, и услышал голос Киты: «Другим дурочка на потеху, а семье не до смеху!». Потом арба со скрипом потащилась по дороге; впереди шагал Кита, сзади, согнувшись под тяжестью хурджинов, шел Закара. А сам он остался стоять под навесом, хмурый, не проронивший ни слова, и, когда арба, свернув в переулочок, исчезла за зацветшим лохом и до него в последний раз докатился лязг колес, рванулся было вслед, но слова старшего брата снова полоснули по ушам, удержав его у отцовского дома, точно дворнягу на привязи, и он попятился назад...

Потом все потекло по-прежнему. Весной так же празднично всходило солнце, и его живительное утреннее тепло наполняло взбудораженную ночными снами деревню. Весело зеленели выстроившиеся вокруг горы, у леса желтели кусты кизила, стучали об землю лопаты со свистом пронеслась над травой коса, и первые крупные соленые капли пота упали на витые корни виноградской лозы. Дни бежали один за другим, снова приходило и уходило лето, за ним наступала осень, задувал холодный ветер, и по пожелтевшим листьям тихо барабанили дождевые капли. Беззвучно катила волны река. На старых ветлах сидели, нахохлившись, мокрые вороны и грустно смотрели на морось. А в воздухе плыл ласковый аромат дыма и напоенной влагой земли. В конце незаметно подкрадывалась зима и выбеливала все окрест, и опять тянулись дни. И только их маленький домик менялся на глазах: распахали отведенный когда-то под застройку кусок земли, отчаянно скрипела ветхая, выгнившая балка с дуплинами, и медленно, но неумолимо росла трещина, пролегшая по стене одновременно со скрипом уходившей в город арбы...

В том году во сне и наяву ему чудилось лицо сестры. С увеличенной фотографии в черной раме печальными глазами Анны на него смотрела мать. В серых, обычных днях прошло лето, и, лишь когда деревню засыпало снегом, он выбрался в город.

В маленькую комнату без окон, где стоял запах лекарств и мочи, озираясь, вошла истаявшая, как свеча, Анна. Не присмотревшись, он мог бы ее не узнать — с обритой головой, в синих шароварах и фуфайке она походила на чужого, незнакомого паренька. Ошеломленный, он взгляделся в нее, и, когда Анна прижалась головой к его груди и беззвучно зарыдала, из глубин его сердца поднялось и с силой разлилось по застывшим жилам неведомое животное тепло.

Потом они сидели друг против друга, Анна ела загустевшее мацони из глиняного горшочка, тихо, по-детски причмокивая, а он без умолку болтал о деревне, о доме, о соседях, обо всем, однако ни разу не упомянул братьев, ни словом о них не обмолвился. И еще не сказал, что сам со дня на день женится...

Сестра слушала его молча. Лоб ее на мгновение разглаживался, слабая улыбка озаряла лицо, и она не сво-

дила глаз с брата, но через некоторое время снова наклонялась над горшочком. Ела Анна без охоты, и он ощущал, как теряет терпение, как давит в горле ненавистный комок совести и тяжкого, сосущего отвращения к этой комнате и невыносимому запаху в ней...

Ему навсегда запомнились эта скверная комнатка, Анна с выпачканными мацони губами, и звенело в ушах ее причмокивание, и в то же время воспоминания эти обкладывали сердце камнями презрения и какого-то упрямства, и они, это презрение и упрямство, преткновением вставляли в нем всякий раз у дороги, ведущей в город, даже смотреть на нее не давали. А теперь...

Лишь с первыми брызгами он почувствовал запах дождя. Внезапный гром потряс землю, и сверху полетели большие жесткие капли. Все вокруг зашуршало, заговорило; застонали под набежавшим вихрем деревья. Старик сидел неподвижно; по его голове и плечам струйками стекала вода, и он по-прежнему думал о недавнем сне. Перед глазами была оставшаяся одна Анна, ее руки, протянутые через ограду, а потом он увидел и себя, — втянувшего голову в плечи и торопливо шагающего по безлюдным городским улицам. Затем вдруг во вспыхнувшем чем-то ярко-белым мозгу все бешено задвигалось, смешалось, а дождь все хлестал по лицу, зло урчали мутные потоки, и в этом непрерывном шуме вновь слышалось отчаянное, душераздирающее — «Не оставляй меня здесь, Миха!». Давно высохшие, покрытые бельмами глаза его увидели, как он поднялся, вытащил из кармана перочинный нож со стершимся острием, перерезал размякшую от дождевой влаги веревку, намотал конец на руку, дошел до перил, снова резанул жгут, потом вернулся, взобрался на скамью, привязал конец к нижней ветви дерева, сделал петлю и, трясясь, просунул в нее мокрую, обросшую белой щетиной голову...

...Дождь по-прежнему хлестал по маленькому дворику, шумели пенистые потоки, а старик неподвижно сидел на скамье, неотрывно глядя на висевшее на дереве задохнувшееся тело, и тихо, бессильно плакал.



В Гудамакарском ущелье, против покинутого села Дихчо, на вершине горы стоит высокий, широко раскинувший густую крону старый дуб. К его потрескавшемуся дуплистому стволу прибиты серебряные кресты и рога бог знает когда убитого тура. На нижних ветвях развешаны небольшие колокола. Дуб стоит и окидывает надменным взором стелющиеся внизу в расщелинах туманы, влажные от осенних дождей леса и опустевшую деревню. На протянувшихся вдоль тропинки маленьких кустах терновника осталось немного овечьей шерсти; только эти грязные клочья и напоминают о человеке в этих местах. Мелкие капли мороси тихо шуршат в увядших листьях; дождь сыплется сквозь провалившиеся крыши домов, на одичалые сады и обезлюдившие пашни на раскорчеванных когда-то склонах гор.

Изредка сюда поднимаются чабаны. Обнажив головы, они медленно приближаются к дубу, обходят его кругом, изумленно рассматривают гигантские туры рога, молчаливые колокола и огромные, уже подсыхающие ветви; кровь в их жилах закипает, глаза блестят, и потом, когда они осушат по рогу жипитаури и самый старейший из них неловко перекрестится, уходят.

В пожелтевшем лесу ярко пламенеют пригнувшиеся ветки ткемалевых деревьев. Наползает туман. Скоро, наверное, ветер пригонит снег, выбелит им посветлевшие окрестности. А пока все еще тянется осень, и по-прежнему сыплет дождик. Иногда задует ветер, старые ветви застонут, и по окутанному мглой лесу пронесется удивительный звон; зашепчутся клены на скате, побегут по их стволам пупырышки, завопит вспугнутая сойка и, хлопая мокрыми крыльями, исчезнет в лесной чаще.

А колокола на ветвях дуба все звенят... Их тихий таинственный голос расстилается в иссеченном дождем пространстве, ударяется об осыпающие низину камни утесы и растворяется в белесой дымке.

Смеркается. Дождь все идет и идет. Опускается ночь. За ущельем на верхушке холма завывают шакалы, а во тьме раздается щемящий и вместе с тем необычно вселяющий неведомую надежду колокольный звон.

ПОРОСЛИ ДВОРЫ КРАПИВОЙ



Уехали Мигриаули, а за ними — и Циклаури. Потом уехали и Чокури; словно призраки, мелькнули ранью в улочках села, выехали на равнину и пропали в предрассветной молочно-белесой мгле.

Осталась одна старая Бабале Бекаури. Ехать ей было некуда и не к кому, вся ее родня давно лежала на кладбище.

Летом ей тужить было некогда — запасалась сеном, так и пролетели, утекли теплые дни. Но, когда похолодало и потянулась череда дней унылых и дождливых, она запечалилась. Завернувшись в шаль и уткнувшись подбородком в ладони, она сидела на веранде и подолгу оглядывала покинутую деревню, почерневший лес, давно не паханную, залитую непросочившейся влагой затвердевшую землю. Тихо щемило сердце. Только когда засверкала покрывшаяся снегом гора Эликари, старуха встрепенулась — словно и впрямь лишь сейчас поняла, что зима подошла к порогу.

К утру все подергивалось инеем; лес светлел, небо прояснялось, и сквозь чистый, прозрачный воздух заснеженная гора проступала еще четче. И старуха спешила в деревню, к домам с заколоченными дверями и окнами, еще сберегавшим остатки тепла, заходила в дворы, еще хранившие следы человека — прислоненные к стене грабли, всаженное в столбик топориче, оставленное на сложенной из плоских камней ограде заржавевшее долото, ножницы для стрижки овец.

— Крр, крр! — каркали вороны, рассевишиеся на верушках торчавших кольев изгороди. Долбили клювами замерзший навоз воробьи. По вечерам кричал филин.

Все-таки, хоть и слабо, но еще светило осеннее солнце. Созрели лесные плоды; порыжели дикие груши, и только по-прежнему изумрудно искрились распolzшиеся по стволам деревьев листики омелы. Местами в низменностях вновь обрадованно заблестела мягкая, уже сплошь было поблекшая трава, в долинах появились поздние грибы, но однажды задул студеный ветер, небо насупилось и нависло свинцовой тяжестью низко-низко; над давно скошенными полями растрепалась мокрая

шерсть туч. Потом ветер унялся, и окрестности притихли. Уже не разглядеть было гор Эликари и Ксилиси все вокруг съежилось, окуталось росистым туманом, приготовилось к глубокому долгому сну.

Однажды, проходя по буковой низине, Бабале наткнулась на медведя. Оторопело опустив с плеч на землю мешок, она расширившимися глазами уставилась на промокшего под холодной моросью зверя. Медведь любопытством посмотрел на Бабале, свернул с тропинки и скрылся за деревьями. В тот день старуха вернулась домой какая-то опустошенная; разведя огонь в печи и просушив одежду, она улеглась на скрипучую тахту и долго смотрела в потолок. Заснула Бабале поздно.

Утром Бабале разбудил лай собаки, и, когда она вышла на веранду, белизна выпавшего за ночь снега ослепила ее. Всю околицу замело. Оделись снегом окрестные холмы и горы, лес стал серым. Не слышно было ни дуновения, лишь сверху, из лазурных глубин вновь прояснившегося неба, с тихим шуршанием слетали снежинки и, покружившись, мягко, словно мотыльки, садились на порошу.

Бабале долго всматривалась в усталые белой полостью дали, а потом, в хлеву, присев с подойником на корточки возле бурой коровы, прижалась лбом к теплоту вымени и прошептала: «Бедняжка ты моя, вот и снег пришел!..»

По вечерам в зеркальном сиянии неба зажигались восковые звезды; полная луна разливала по замолкшему пространству стылый бледный свет. Днем восходило солнце, растапливало снег на крышах, и под водосточным желобом бренчали холодные как лед капли. Кругом все оживало вновь; из-под чердака со щебетом выпрыгивали воробьи и пускались облетать стоги сена, собака встревоженно принюхивалась к следам зайца в огороде и громко лаяла. Выйдя из хлева и прижмурив глаза, старуха оглядывала ярко облитый солнцем двор и относила домой наполненный подойник, в задумчивости опустив голову и чему-то улыбаясь.

Все времена года были для нее — каждое по-своему — хороши и желанны, но прежде, пока деревня еще не опустела, приходу зимы она радовалась как-то по-особенному, с ее наступлением в этот дом, двор и улочки

16.03.59
1944 П.10033

села вмещался весь мир, и собирались в этом уменьшившемся мире все вместе, поглощенные делами и заботами уходившего года, жили общими для всех радостями и бедами, делились всем друг с другом. По утрам петухи громко возвещали из курятников о новом дне; с ядреным морозным духом перемешивался запах тянувшегося из печных труб дыма, разносились псиное гавканье, хриплые голоса отоспавшихся мужчин, голодный рев скота. С бранью обрушивалась на плакавшего ребенка соседка; кто-то колот дрова, и удары топора гулко отдавались во всех концах деревни. По протоптанной в снегу тропинке шли к источнику молодые, сильные женщины... Порой в зимнее ночное безмолвие врывался тревожный стук в дверь, и потом, когда она быстро шагала по освещенному факелами снегу в окружении растерянных, суетившихся сельчан, сама с волнением ощущала, как слабеют колени и сохнет рот, но, совладав с собой и выпрямившись, бодро, с улыбкой входила в дом, в комнату с неяркой керосиновой лампой, где лежала побелевшая, с огромным вздувшимся животом молодлица, со стыдом силившаяся оборотить боль и страх. Не улыбаться нельзя было — сейчас у всех в этом доме: и у роженицы, и у прижавшегося к стене бледного как полотно мужа, и у плотно сомкнувшей губы свекрови, и у молча зажавшего во рту чубук стоявшего поодаль старика — была одна надежда — на нее. И когда после, измученная не меньше матери, Бабале держала в руках мокрое беспомощное дитя, она ликовала и гордилась им, словно сама произвела его на свет.

День проходил за днем; истосковавшиеся по работе, мужчины развлекали себя чачей; рассеявшиеся у камина древние, беззубые деды нескончаемо тренькали на пандури, сипло, с раздувшимися глотками рассказывали о былом и о собственных геройских делах, колотили себя в грудь сухими кулаками, расходясь и грозя невидимым врагам и свирепо посматривая на подвыпивших юнцов. Изо дня в день заново копились израсходованные за лето на жатве, косье и в лесу силы, нарастали, искали выход, и селяне как на пороховой бочке, с опаской и нетерпением ждали взрыва, чтобы ощутить пьяную, летящую радость безудержного буйства.

В один из дней в деревне разражались истошные крики, по заснеженным проулкам гонялись с цепами и

дрекольем в руках, с налитыми кровью глазами люди; смешивались вопли, крепкая ругань, треск дубья и визг женщин; схлестнувшиеся друг с другом парни катались по снегу, брызжа слюной и скрежеща зубами. Надсаживались рассыпавшиеся кругом собаки, заливались ребятишки, и зловеще носилась в небе, хлопая крыльями, большая голосящая птица. Сжав губы, Бабале неподвижно смотрела на кутерьму: знала, что скоро все уляжется, и угомонившаяся деревня вновь тихо придвинется к ней, к ее дому — зализывать раны у ее порога...

Ныне же все окрест словно было заключено в глухой, закупоренный сосуд, в который ничто не проникало снаружи и в котором старуха жила неслышно, как летучая мышь в дупле. Просыпалась она по-прежнему рано, но, пока не становилось совсем светло, лежала не шевелясь, обернувшись латаным одеялом и глядя в потолок. Потом тихонько выбиралась из одеяла, сворачивала постель, укутывалась в шаль и выходила на веранду. Морозило; укрывшись снегом, земля крепко спала. Из хлева долетали вздохи скота. Собака, завидев хозяйку, принималась с радостным тьявканьем метаться по двору.

В хлеву с закопченным окошком было тепло. Волглое дыхание коров оседало на каменных стенах и разбухших от сырости дверях. Привязанные к кизиловым дугам, нетерпеливо мыча, они вытягивали шеи, терлись влажными мордами о щеки склонившейся у яслей старухи, и та притворно сердилась, щедро осыпая их укоризнами. а потом, выпрямившись и уперев руки в бока, смотрела, как они набрасываются на сено, жадно выхватывая друг у друга каждую сохранившую запах лета розлинку, и напрочь забывалась затянувшаяся зима, но скоро гаснул и этот куций день — как бы таял незаметно, и старуха привычно коротала сумерки за чесанием шерсти и вязанием.

Шло время, солнце набирало силы, и в один из дней сквозь морозную толщу пробился веселый и приветливый аромат весны. Оживленно загудели лавины в ущельях, и, хотя по ночам брал еще свое холод, снег уже спал, а на склонах и вовсе стал растекаться. Все вокруг изменило окраску; в лесу забелели ткемали, на усеявшихся листочками кустах грабинника ткали серебри-

стую паутину пауки, и над зазеленевшими лугами разноцветными клочками пестрели бабочки.

Старуха бродила по деревне, разглядывала перезимовавшие дома—с расшатавшимися баясинами перил, прогнившими полами и покосившейся красной черепицей крыш...

А во дворах зацветали фруктовые деревья. Над охваченной трепетным ожиданием сева землей поднималась теплая испарина, снова наполнявшая воздух прежними, полузабытыми страстями; посвистывал дрозд, и все было таким обычным, знакомым, что старухе вновь явственно слышались давно исчезнувшие в деревне звуки: вот кто-то рубит поленья, и по всей деревне разносится стук его топора, соседка кричит на расшалившегося сынишку, а вот смеются идущие по воду женщины...

Иногда Бабале ходила на маленькое кладбище, прилепившееся к разрушенной старинной крепостной стене. Спустившись по заросшей травой дорожке, она поворачивала в узкий проулок и выходила на ведущую к развалинам крепости тропинку. Шла она легко, неся в руках небольшую корзину. Из ущелья доносилось журчание ручья; там на мокром песке сидели, выпучив глаза и дрожа в предвесенней истоме, лягушки, грелись на солнце ящерицы, бесшумно парили стрекозы с отливавшими перламутром крыльями и перепрыгивала с камня на камень неумная трясогузка.

Прибавив шаг, Бабале входила в прохладное ущелье. Испуганные лягушки бултыхались в воду, убежали ящерицы, взмывала вверх трясогузка и поспешно пряталась за развалившейся стеной. Бабале проходила вдоль берега и, преодолев подъем, оказывалась на кладбище. Низко опустив голову, она бродила среди могил, глубоко врытых в землю камней; приближаясь к обросшим мхом надгробиям, задумчиво рассматривала вырезанные на них рисунки—мужчин и женщин со скрещенными на груди руками, мечи, плуги, мастерки каменщиков, потом ставила корзинку на землю и, утомленная, с пунцовыми от усталости и солнца щеками, оглядывалась по сторонам.

На кладбище она оставалась надолго. Обрезав ножом заслонявшие надгробные камни комочки и стебельки густо разросшегося осота, она зажигала свечи и по

одной прикрепляла их к каждому камню. Откуда-то снизу подступала темнота, бесшумно, словно дым, поднималась над заалевшими полями и медленно застила пространство. Смеркалось. Чернота надвинувшейся ночи поглощала прижавшиеся к подножию горы дома, дворы. Вдали еще виднелись темные силуэты гор, а потом и они исчезали. Во всей округе воцарялась пугавшая тишина, и старухе казалось, что все в мире внезапно и без следа всосалось разлегшейся кругом грозной тьмой, и она осталась сидеть на могильном камне одиношенька на всем свете.

Бабале и раньше ходила на кладбище, но тогда деревня встречала ее, когда она не спеша возвращалась оттуда, своей обычной жизнью — неторопливо переговаривались на дороге шедшие из поля усталые крестьяне, во дворах, покойно жуя, стояли коровы с раздутым выменем и ласковым мычанием подзывали привязанных рядом телят; сквозь перестук цикад слышались собачий верезг, кудахтанье кур и людские голоса.

Теперь же она возвращалась домой всегда торопливо, боязливо озираясь, и деревня встречала ее негромкими звуками, неизвестными доселе и тревожившими — чьим-то шепотом, кулдыканьем, шелестом, и Бабале, задыхаясь, быстро пробегала проулок, суется, открывала калитку и успокаивалась, лишь когда собака радостно кидалась ей в ноги. Потом она долго сидела на веранде и смотрела на погружавшиеся в теплую весеннюю ночь пустые дома. Не слышно было ни ветерка, орехи застыли; далеко на западе еще догорал уходящий день, а потом затухал. В темном небе одна за другой вспыхивали звезды, подрагивали, будто перешептывались о чем-то...

Неподвижно, с отяжелевшим сердцем Бабале сидела долго, пока не всходила луна, озарявшая деревню неярким сиянием, в котором сновали удивительные тени. В ущелье все так же ворковала вода; в хлеву одна из коров сопела громче и беспокойнее других. Собака лежала рядом, положив морду на вытянутые лапы, и при малейшем шорохе вскидывала ухо и поводила им.

Но утром сиявшее солнце настойчиво расталкивало пурпурные тучи, и повеселевшая Бабале вновь сновисто принималась за дойку коров; молоко со звоном наполняло подойник, во дворе пряно пахло свежеско-

шенной травой, и еще сонной после ночи скотиной, а над деревней с непрерывным гамом мелькали песчанки.

Поднявшийся в одну из дождливых ночей ураган ворвался в деревню, сбросил угнездившегося с вечера в тутовой кроне непоседливого мокрого петушка и погнал его к куче хвороста. Проснувшись от шума, Бабале некоторое время лежала на тахте, вслушиваясь в дождевую дробь, громыханье покотившегося по веранде таза и стон оголенного бурей орехового дерева, а потом улеглась на другой бок и поплотнее, с головой закуталась в одеяло, но, едва она закрыла глаза, как внезапный страшный грохот заставил ее испуганно соскочить с постели — ударила молния. За окном было темно, далеко за огород отбрасывали еле видимые тени пригнувшиеся верхушки орешин, и, когда извившийся драконом заряд пронзил небо, на мгновение осветились обросший непролазным лесом хребет ущелья и крыши домов.

Лязгая зубами от страха, Бабале сунула босые ноги в шлепанцы, набросила шаль, выбежала на веранду, и сразу же набежавший порыв ветра сорвал шаль и отшвырнул ее к хлеву. Голый орех кряхтел, стенал, под землей вцепились в почву и выли его старые корни; пустые, с распахнувшимися окнами дома замерли; издали доносило настораживавшее, недоброе позвякивание, и старуха чувствовала, как стынет ее тело, как ее обволакивает липкий ужас ожидания, и, когда гром снова сотряс веранду и полил дождь, она поспешно вернулась в комнату, ощупью нашла тахту, легла, и под сомкнувшимися веками ее заплесали, поплыли желтые сверкающие круги...

К утру дождь перестал идти; вихрь стих, и выше, у предгорья, там, где начинался лес, залегли похожие на громадных белых китов облака тумана. Выйдя во двор, старуха оглядела деревню, всматриваясь в дома, промытые до блеска проулки, и когда взор ее остановился на одиноко стоявшем ниже, подальше от остальных, у источника домике из каменного известняка, отскочила назад и прижала ладонь к стиснутым губам...

Потом она, не помня себя, спотыкаясь и скользя, бежала вниз по спуску, но к источнику прибежала, сумев ни разу не упасть, и, когда, запыхавшись, прижалась к каменной ограде, перед ее глазами встал дом — с про-

валившейся крышей, выбитыми ураганом дверями и окнами и зиявшими на их месте черными четырехугольниками, в которых видны были смешавшиеся в кучи обломки черепицы и сгнивших, задуплившихся балок и досок. Весь двор был усыпан щепой и трухой; в высокой, в человеческий рост крапиве поблескивали осколки стекла. Вокруг еще стоял бледный рассвет, но на востоке кромка неба уже порозовела, высокие, угрюмо смотревшие горы пододвинулись ближе, и свежий ветерок приносил с той стороны тихий необычный звон. Крапива таинственно заколыхалась, словно в ней задвигалось какое-то бесплотное существо, и остолбеневшая, с посеревшим лицом старуха обреченно ощущала, как слабеют жилы, как стучат в висках крохотные молоточки и как ею медленно овладевает отчаяние. Окаменев, она какое-то время еще стояла перед домом, а затем круто повернулась и поспешила домой.

Медленно пройдя по подъему, она подошла к воротам — и захолонуло сердце: и ее двор порос крапивой, закрывшей приземистый, с плоской крышей хлев и уже карабкавшейся по стенам дома. Она перевела широко открытые глаза на крышу, и ей отчетливо послышалось, как горестно скрипят балки, стонут подогнувшиеся от старости столбы веранды; по каменной кладке стены поползла трещина, и сквозь разинутые черные отверстия окна из комнаты сочился удушающий, бросивший старуху в озноб холод.

Перебежав двор, она схватила прислоненную к буковому дереву косу, и, когда провела по поржавелому лезвию точильным камнем, железо глухо, угрожающе загудело. Коса долго со свистом носилась над крапивой, порой гулко напарываясь на скрытый камень и разнося по окрестностям резкую тревожную трель... Выкосив начисто весь двор, старуха уперлась ладонью в нывшую поясницу и довольно оглядела уже вянувшую срезанную траву.

...Когда на следующее утро старуха вышла на веранду, она не поверила своим глазам: за ночь крапива выросла опять и поднялась еще выше, закрыв собой хлев, ограду, дорогу и деревню; в ней запросто мог укрыться седок на лошади. Надрывно ревел скот и жалобно скулила, забившись в угол веранды и вздыбив загривок, собака.

Старуха обмерла, сердце ее бешено застучало; потом, почувствовав непонятную боль, она быстро сбежала во двор и, высоко подняв голову и раскинув руки в стороны, шагнула в крапиву. Острые, ядовитые иглы обжигали ее, лицо опутала сеть волдырей, но она упрямо продиралась вперед и, добравшись до бука, сорвала повешенную на сук косу и принялась яростно ссекать ею впивавшиеся в подол платья, в голени, хлеставшие по телу стебли. Крапива душила ее, но старуха не останавливалась и, лишь когда дошла до ограды и подняла голову, увидела на дороге тянущуюся парой быков арбу и двух верховых. Растерянно глядя на них, она услышала совсем близко цокот подков, скрежет намазаной колесной оси, голоса мужчин, опустилась на землю и беззвучно заплакала.

Выпорхнувшая из кустов на обочину вспугнутая сойка уселась на дереве и недовольно заворчала. Ветерок утихомирился, замолчали цикады.

Арба и всадники уже въезжали в проулок.

— Вон, после Цхавери какие валуны пошли! — донесся голос сидевшего на облучке знакомого пожилого крестьянина. — А ведь, сколько себя помню, всегда по этой дороге ездили!

— Большой снег выпал, дядя, — ответил парень в пестрой рубашке.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво проговорил крестьянин. — Неужто раньше такого снега не бывало?..

Третий, чисто выбритый мужчина с хмурым лицом, молча ехал на коне, оглядывая прищуренными глазами окрестности.

Разговор приезжих был хорошо слышен старухе — до них было уже рукой подать, вот они завернули к ее дому, но выглянуть и окликнуть их ей не хотелось.

Увидев притаившуюся в траве старуху, кони остановились; пожилой крестьянин тоже остановил арбу, виновато улыбнулся и спросил:

— Как бобылкой живешь-то, бедолага?

Бабале не ответила, только тяжело приподнялась, держась за ограду. На какое-то время наступило молчание, потом, глядя на отощавшую, словно насквозь просвечивавшую старуху, сидевший на арбе крестья-

нин с неловкой нарочитостью, чтобы скрыть смущение, покашлял и громко сказал:

— Собирайся, Бабале, с нами поедешь!

Старуха долго смотрела на него, потом перевела взгляд на хмурого мужчину и, словно только сейчас поняв смысл сказанного, тихо спросила:

— Что ты, родимый, куда это вы меня везти собирались?

— А к людям! С ними ты быть должна! — уже весело ответил крестьянин, и старуха тоже застенчиво улыбнулась и ласково произнесла:

— Нет, Павле! Какое уж мое время с места на место перебираться!

— Вот еще выдумала — время! Да не будешь же ты вот так, одна-то?!

Старуха чуть слышно сказала:

— А я-то, когда вас увидела, думала — вернулись...

Незнакомец вытащил из кармана сорочки часы, взглянул на них, сунул их обратно и нетерпеливо бросил крестьянину:

— Что вы еще за разговоры разводите! Не видишь — темнеет! Поживее открывайте ворота!

Парень распахнул створки ворот, и арба со скрипом въехала во двор.

— Скорее, скорее, мать, не задерживай! — И незнакомец спрыгнул с коня.

Сжавшись, старуха вновь посмотрела на крестьянина:

— Зачем это вам, Павле? Что делать со мной будете?

— Сказал же — с собой заберем!

Старуха обвела глазами стоявших во дворе мужчин — они и впрямь не шутили.

— Оставь меня, родненький, в своем доме. Ведь я, коли б уезжать хотела, в прошлом году и уехала б...

— Да нужен же тебе доктор или еще кто?! А если заболеешь?

— Никто мне не нужен.

— Ну-ка, забирайте, что у нее там есть, и сложите на арбу. За скотом и птицей потом приедем! — распо-

рядился незнакомец, и все потом завертелось с жуткой, невероятной быстротой — бережно и легко подняв Бабале, ее усадили на арбу, но, так как она пыталась спрыгнуть и убежать, еще и привязали к арбе веревкой, а из дому спешно выносили кастрюли, миски, чугунки, мутаки, низенький столик, щербатую каменную ступку, свернутый коврик с тахты, постель с тюфяком и одеялом, забрасывали все это на арбу, и, когда домик опустел, крестьянин опять взобрался на облучок, стегнул быков, и арба выкатила на дорогу. Остальные двое вскочили в седла, еще раз оглядели двор и поехали следом; сзади бежала собака.

Съездившись, старуха сидела смиренно, но затем, встав и перегнувшись через борт арбы, впилась глазами в подмятую крапивой вымершую деревню и внезапно протяжно, навзрыд завывала, и тотчас сдержанным гулом откликнулись возвышавшиеся вокруг горы.

Мужчины побледнели.

В этот миг со стороны горы Эликари показался несшийся во весь опор на белом коне неведомый всадник. Слетев по склону, он через мгновение оказался совсем близко и, подхватив на скаку Бабале и усадив ее на коня, умчался и исчез за горами.

Кругом была тишина. На земле валялся обрывок веревки. Оцепеневший крестьянин осторожно поднял правую руку, сжал плотной щепоткой три задрожавших пальца и молча перекрестился.

СТЕРЕГУЩАЯ ОГОНЬ

Сказано — в каждом доме свой котел пыхтит, да только разные котлы бывают. В одном скрыто, потихоньку варится зелье, в другом уже закипает и выливается через край — смотря какой огонь под ним разводят.

И в семействе Тхлашадзе этому делу подсобляло столько охотников, столь умело раскладывали под котлом пылающие головешки, что крепкая, еще прадедова посудина накалялась докрасна и ярилась так, что было

слышно во всей округе. Раньше, когда еще хватало сил у старухи, она зорко и надежно стерегла огонь, не давая ему вырваться из дома, вовремя поливая его смешанной с золой водой и утихомиривая его. Еще хвалилась, бедняга, — золотое, мол, у нашего котла днище! А как одряхла, принялась в тхлашадзевский котел вся деревня лазить — каждый со своим черпаком, и попали тогда Тхлашадзе ко всем на языки.

Деревня узнавала о рассвете по поднимавшемуся в доме Тхлашадзе шуму — петухи и клюв разинуть не успевали. Гам взвивался — ну прямо, словно встарь, лезгины из-за хребта набежали! Сыпали проклятиями женщины, матерились мужчины, пронзительно скулил пнутый кем-то пес и выли испуганные дети.

Страдалица-старуха без конца увещевала своих, повисая на руках забияки-сына, разъяренной невестки или визжавшей внучки либо зажимая ладонями рты ее мужу Црутне и ревушим детям.

Вздорный мужик был тхлашадзевский Ника — упрямый, артачливый, злоязыкий и задиристый. Увидит вдруг топор в неположенном месте или забредший в поле скот — ух, ну и гвалт затеет!

И супруга была ему под стать. Нашла коса на камень — ни в чем мужу спуску не давала, а о других и упоминать не приходится. Такую скверну на него изрыгала, что он — сам буйн и матерщинник — аж шалел. Ну, а уж зятек их, Црутна... До него им обоим далеко было! Так — тихоня, а тронешь — уколешься! Мастак свариться и сквернословить, а еще балбес и лодырь, очень охочий до вина и чачи. Дни и ночи просиживал он в застоле, крепко сжимая в руке граненый стакан и не выпуская его ни на минуту. Когда тесть махал мотыгой в винограднике, Црутна во все горло орал песни и всегда был если не пьяный, то с похмелья. Первач, бывало, еще не остынет, а он его уже допивает. И ему женушка по себе досталась. Стоило лишь ее родителям даже чинно так попросить, к примеру, — зятюшка, мол, не засти свет спереди, отсядь чуток назад, будь добр! — вмиг устраивала такой тарарам, что далеко за домом подпрыгивали собаки и оглушительно лаяли на всю околицу.

Словом, кипел у Тхлашадзе пращуров котел, и переливалось из него через край. Старуха все так же не-

утомимо и наивно загораживала позор, пытаясь за-
крыть ладошками глаза всей деревне. К любопытной
болтунье-соседке, пришедшей якобы одолжить чего-то,
выбегала сама, невестку и внучку близко не подпус-
кая, — мол, что-то еще выпалят при ней, крышка котла
тогда—сразу в сторону слетит, соседка и заглянет
внутри, рада стараться! — и, приветливо улыбаясь и об-
волакивая ей глаза медом — нет, не медом, а золой из-
под котла их засыпая, — выпроваживала сплетницу до-
вольной. Но, как говорится, время годы гнет, и силенки
у старухи убывали: разнимать и унимать спорщиков и
драчунов ей становилось все труднее. Едва вновь вспы-
хивала перепалка, она выскальзывала наружу, съежи-
валась на скамеечке перед воротами, прятала в подол
выцветшего платья шершавые мозолистые руки и, слов-
но догорающая свеча, безмолвно исходила сползавшими
по щекам медленными слезами.

Деревня горела от стыда.

А старуху терзала своя печаль — бурлящее варево в
котле не давало ей покоя. Как во сне, в памяти ее
всплывали большая горница, огромный, ни дать ни
взять свадебный стол, широкая, как поле, тахта и весе-
лая, дружная и счастливая, на всю деревню расселив-
шаяся семья. И сердце старухи больно щемило.

Вращалось колесо времени; дни текли, и зиму сме-
няла весна. Задувал теплый ветер, и в воздухе уже ца-
рил влажный от таявшего снега аромат пробудившейся
земли. На глазах менялось все — вереницы унылых от
недавней непогоды серых домиков, узкие, залитые гря-
зью улочки, почерневшие в заморозки сады и виноград-
ники. Просыпались поля, как бы потягиваясь и разры-
вая застилавшую их снежную пелену; изумрудно засве-
тилась молодая трава, и повсюду белым цветом обмело
фруктовые деревья.

Все земное радовалось, любило, пело. Только из до-
ма Тхлашадзе, как обычно, извергались крики, но и в
ним привыкла деревня — спохватывались лишь, когда
пару-другую деньков в доме было затишье, и тогда по-
сылали кого-нибудь к ним проведать: уж не перебили
ли вконец друг дружку?

А старуха, как и прежде, низко пригнувшись, сиде-
ла перед домом и беззвучно плакала.

Но однажды утром деревню разбудили звуки доли. Разом повскакали и стар и млад, протерли глаза и наострили уши: звуки эти доносились со двора Тхлашадзе! Скоро все, от мала до велика, высыпали из домов и устремились туда, а прибежав, поразились: старуха с помолодевшим, посветлевшим лицом, сидя на скамеечке и зажав под мышкой оставшийся от мужа доли, изо всей мочи барабанила в него бурыми ладонями и озорно, отчаянно глядела на собравшихся.

По коже у сельчан побежали мурашки.

Сперва решили: наверняка умом тронулась! Но потом, когда сквозь выбиваемую дробь из дома отчетливо пробились рык Ники, вопли его жены, рывканье Црутны и звон разлетавшейся на осколки посуды, догадались — понимающе перемигнулись, и сухорукий Читуа, первый на деревне балагур и остряк, ласково спросил старуху:

— Ты им, видно, этой дробью, ровно золой, перебранку загасить тщишься? Ею, будто заслонкой, пламя в ихней печке прикрываешь? Что они, несчастные, без тебя делать будут, а?

Кто усмехнулся, а кто опустил голову от смущения и жалости, и скоро все разошлись по своим дворам.

С того дня сидит старуха на скамеечке у ворот — с застывшей на губах улыбкой, с навернувшимися на глаза слезами, — сидит и играет на доли, звуки которого то, усиливаясь, лихо прокатываются по деревне, уносятся в поля и налетают на уже зазеленевшие склоны гор, то слабеют и затихают... И так все время.

С этими звуками деревня пробуждается и засыпает.

Россыпь доли заставляет думать о тхлашадзевском котле и о своем собственном, а еще напоминает о том, что жива пока стерегущая огонь под котлом старуха, которая по-прежнему хранит его и удержит, коль надо, плеснув на него зольной водой, когда пламя слишком уж разбушует и глупые искры разлетятся во все стороны... Дай ей господь долгие лета!

ТОСКА

Едва Ника прошел последний ряд, поставил на землю аппарат для опрыскивания лозы и опрокинул в глотку до краев наполненный холодной водой кувшин.

чик, как со стороны горы Ксилиси прямехонько к деревне двинулась громадная туча, черная и грозная, разрастаясь в пути и захватывая за собой с окутанных туманом вершин другие.

По виноградникам пронесся говорок ветерка; листья зашуршали, и повис пряный запах дождя. Ника растерянно огляделся, посмотрел на окрашенный купоросом виноградник, потом быстро поднял с земли носки, зачихнул их в карман, сунул ноги в резиновые опорки, подхватил пустой аппарат и пустился бежать.

Он еще не успел добежать до ореха, когда ударила молния; страшный грохот сотряс землю, и сверху полетели крупные жесткие капли. Устроившись под деревом, Ника поставил аппарат у стожка сена, забрался на него и оглядел деревню.

Еще недавно озаренные сверкающим светом окрестности вмиг потемнели; почерневшее пространство лишь изредка прорезал блеск новых разрывов молнии. Дождь косо бил в землю, беспрерывно шептал что-то виноградник, вдали с шипением пенились потоки, и откуда-то слышалось неведомое гудение.

Вскоре дождь пробился и сквозь плотную листву ореха, — холодные прозрачные сгустки мягко шлепались на покос, расшвыривая брызги. В воздухе поплыл поднявшийся от земли теплый пар. В конце виноградника грузно пролетел промокший удод, перевалил через заросли лоха и исчез за толстой дождевой завесой.

Ненастью не было видно конца — силы небесные разбушевались не на шутку.

С листьев лозы, слизывая купорос, с шумом стекали зеленоватые струйки. Ника сидел и, бледнея, смотрел, как вода смывала его труд, и сердце его разрывалось от горя.

Вновь и вновь небо пронзали молнии, и встряхивалась земля; несшиеся из виноградников потоки образовали под деревом огромную густую лужу; лоза трепетала, орех простонал, и сердце у Ники екнуло. Торопливо подвернув штанины и разувшись, он соскочил с аппарата, схватил прислоненную к забору лопату и вошел в лужу, чуть ли не до колен оказавшись в слякоти.

Когда он добрался до яблонь, внезапная сильная струя едва не сбила его с ног, и тут же он увидел —

повыше, у забитой чем-то канавы при обочине дороги, водопадом бешено забурлил пенистый поток и, завертевшись щебенкой и камнями, помчал их на стройные шеренги виноградных кустов, подминая их, как ошалевший буйвол, и уже сровняв с почвой один ряд — самых высоких и крупных лоз, — и при виде этого из горла Ники вырвался сдавленный крик.

Выбравшись на дорогу, он бросился к канаве, вытащил из нее застрявшую сухую ветвь и пару здоровенных камней и изменил направление потока, но в это время новый, устремившийся с горы водяной вихрь, запросто срывавший придорожные кусты, легко, словно одуванчики, уносивший их с собой и, казалось, могущий стереть все земное, запрудил ими в проулке сам себя, закипел, зарычал, вздыбился, словно завертевшийся на одном месте загнанный раненый зверь, набирая силу для отчаянного прыжка и грозясь вот-вот ворваться в виноградник.

Ника с отчаянием смотрел на страшную запруду: еще немного — и огромная сильная вода, поднявшись, хлынула бы бог весть за что посланной карой на беспечно раскинувшийся когда-то на солнечном косогоре виноградник.

Подбежав и прыгнув в водоворот, Ника принялся яростно раскидывать обломки веток и стеблей лопатой, затем ухватился за большой косматый пень... Внезапно пучина с воем ударила его в поясницу и сбила с ног. Заболтав конечностями, он сумел встать на колени, потом поднялся и огляделся. Лужа постепенно мелела, растекаясь, но поток все лился.

Он снова спрыгнул в виноградник, где напор повалил следующий ряд... Бросившись к канавкам, он стал лихорадочно раскапывать землю рядом, отводя от них в сторону новые русла, разредил воду, лишил ее силы... и поздно сообразил, что дождь уже кончился — лишь летели последние запоздалые капли, тучи рассеялись, и сверху ласково смотрел лазурный небосвод. Ника оперся на черенок лопаты и отер взмыленный лоб мокрым запястьем. Из оврага доносился сердитый гул воды.

Немного передохнув, он поднял и распрямил избитые и забрызганные грязью лозы, снова подпер их кольщиками, потом, усталый, еле волоча ноги подошел к ореху, стащил крышку с врытой в землю цементной

бочки и заглянул в нее. Внутри оставалось еще много раствора купороса; он помешал его палкой, потом подтащил аппарат и наполнил его...

* * *

Уже вечерело, когда Ника кончил опрыскивать лозу, довольно оглядел вновь голубевший от купороса виноградник и только тогда почувствовал, как сильно устал. Он постоял еще немного, глядя, как заходит солнце, прислушиваясь к мычанию возвращавшегося в деревню скота и тьяканью собак и вдыхая аромат разбухшей от влаги земли, и ощущал, как его изнуренное тело наполняется какой-то удивительной силой. Охваченному непонятным блаженством, ему не хотелось уходить, но настала пора возвращаться — не ночевать же было в винограднике, и, закинув опустевший снова аппарат за спину, он вышел за калитку и потопал по разжиженной тропинке, тяжело волоча словно свинцом налитые ноги, размахивая стертymi, скомканными, словно ветошь, кистями рук и пьяно пошатываясь.

Добравшись до своего двора, уже в сумерках, Ника скрипнул калиткой, прошел под навес и громко крикнул оттуда:

— Жена-а!

По лестнице с причитаниями чуть не кубарем скатилась жена Ники. Увидев мужа, с ног до головы измазанного купоросом, она хлопнула руками по коленям и побежала на кухню.

Ника там же, под навесом содрал с себя одежду, — худой, сейчас он казался совсем тощим и жалким, и, когда жена принесла ведро горячей воды и таз, наклонил голову и покорно сел на скамью. Спустя немного времени, вымытый и причесанный, он уже сидел на веранде за столом, крошил хлеб в миску с лобio и слушал в ночной тишине кваканье древесных лягушек и далекие звуки доли и гармонии.

* * *

— Ох, горяшко мое! — выбежав из комнаты на веранду и увидев, что Ника спит, положив голову на стол рядом с миской, его жена ударила себя ладонью по щеке. — Ника, Ника! Не слышишь, что ли? Ты где заснул? Ведь простынешь, мученье ты мое, да всех нас

погубишь! Вставай, родной, я тебе уже постелила! Вставай!

Ника вздрогнул, очнулся, ухватил жену за плечо и тяжело приподнялся. Жена нырнула под мышку Ники, обвила рукой его поясницу, завела в комнату и усадила на тахту.

Голова у Ники неудержимо клонилась книзу, глаза смыкались. Жена раздела его, уложила в постель и накрыла одеялом.

Почувяв тепло постели, Ника сразу подтянул остывшие колени, откатился к стене и свернулся калачиком и тут вновь увидел несущийся поток, прижатые к земле лозы, рушивший все пенистый водоворот, а грязная вода заливала его и душила, забивая ему рот песком и щепенкой...

Жена закутывала его в одеяло, Ника ощущал ее натруженные заботливые руки, и по телу его разливалось тепло. И, когда до него снова донеслись плеск гармон и дробь доли, он беспокойно заворочался и глухо спросил:

— Мальчик... где?

— Да недалеко, миленький, — поспешно ответила жена, — с ребятами заигрался. Спи!

Ника затих. Тихо гудело, становясь невесомым, усталое тело, ныли суставы; дрема поглотила шум пенившихся потоков, далекие переборы гармон и россыпь доли, и, проваливаясь в бездну сна, он на мгновение ощутил тяжело легшую на сердце странную всеуносящую тоску, но в следующий миг крылья сна умчали его, и он так и не успел понять, чем была эта внезапная щемящая тяжесть.

Перевод Левана БЕДЖИЗАТИ

Из книги „Двенадцать каприччо“

Седьмое каприччо

1. Как поживаете, господин Кайафа? Давно ли
 С вашего лица, впитавшего лицемерье греческой маски
 Стерли белила, вернув ему перевозданность.
 Что заставляет дрожать ваш раздвоенный подбородок?
 От кремнистых троп не болят ли ваши колени?
 Ваш высокий лоб не заляпан дорожной жижей?
 Ну скажите же?

Впрочем, кто бы уберег себя от позора,
 Когда снова неловкостью рожденное слово
 Прозвучало и превратило две жизни
 В фигуры, проступившие вдруг из кофейной гущи,
 Чтобы разом угасли в опрокинутой чаше
 Любовь, надежда и вера?

Когда слово, рожденное темным сбродом,
 Уже прозвучало в мире,
 И кануло и исчезло, словно нет и в помине.

Что заставляет дрожать ваш раздвоенный подбородок?
 Может быть, вас, разоблаченного ныне,
 Страх посетил, неведомый прежде,
 И напомнил, что сосуд Данаид бездонный,
 Как ни наполняй, снова не наполнен?

Что глыба, водруженная уже было
 Столькими трудами, вновь скатилась с вершины?
 А распятый на колесе

Потерял уже счет кругам?
 Да не ягнята ли Авеля привиделись вам,
 В уютном вашем жилье,
 Господи Кайафа?

И что подвигло вас выйти в одном белье
 На снег? Или незапертой калитке во сне
 Именно этой ночью так надрывно захотелось скрипеть,
 Напоминая о старом грехе?.. Ответ!

Что же вас содрогнуло в вашем тепле?..
 Узнали? На заиндевевшем стекле
 Скорбный профиль Вероники. И вам теперь

Не растопить его воспаленным лбом,
Не сорвать, не зажать в горсти,
Отросшими ногтями не соскрести,
До весны вам не стереть его, до тепла...
А ваша весна прошла!



2. Райский сад, тобою отданный в дар,
Стал стар, обезлюдел и зарос сорняком.
Тайком покатился прочь клубок Ариадны.
Судьба — оборотень!

Время — весы!

Час опустошенья настал —

Виденья обступили со всех сторон,
Все девять снов разом привиделись мне вчера,
И был вещий девятый сон.

Агония ястреба на снегу —

Тоже стремление из белого плена.

Гордое дыхание сокровенно,
Но обескрылела душа во мне —

Не могу подняться.

Падают гвоздики из рваной раны.

Вновь над головой созвездие рака.

Появление этого знака

Чарами сопряжено с прошлым.

3. О, напрасно, напрасно,

Не думая об утратах,

Мы стремились к бездомности из отчего дома,

И был путь наш, словно полет пернатых,—

Недосягаем и волен.

О, напрасно, напрасно, доверяясь тщете,

Искали мы, в пустынных песках стораая,

Источник добрый, словно вода живая —

Влага бессмертия, если существует она.

Искали, чтобы поднять со дна

Семиплавниковую звезду, которую пращур

Из Зодиака мечтал выкрасть,

Но был тяжел и неловок...

В головокружительном солнце сенокоса

Поровну делили мы голод,

И эфемеру, выросшую из желтого горизонта,

Пили глазами,

И был путь наш тяжелее семинедельных скитаний.



О, напрасно, напрасно мы возвращались
В отчий дом нищие,
Словно во времена мечтаний счастливых,
Когда в пленительный трепет ветра
Погружают восторг души нищей,
И неведома еще рачительная забота,
Какую даруют сев и жатва...
И напрасно изрезанные морщинами руки
Матери целовали мы, преклонив колени...
Ибо всякое усилие бесполезно,
И, как лоза без листьев, слова бесплодны.

4. А меж тем треть жизни моей прошла
Под тоскливую колыбельную хризантем.
По спуску вслед за толпой
Ступаю. Значит, приговор надо мной
Приведен...
Словно давно окаменевший корабль
Вновь под сполошные птичьи крики
Двинулся.

А парус его — плат Вероники.
Треть жизни моей уже миновала,
Другим голосом рассказывает сказки моя Фуфала:

«За этим миром, — уверяет она, —
Есть еще другая страна,
Страна чудесных ирисов. В ней
Сад. И там свистит соловей.

А чуден, говорят, этот сад,
Прохладою и плодами богат.
И там, где на четыре рукава дробится река,
На зеленом, виден издалика,
Жертвенный агнец пасется среди лугов.

А еще в той стране блаженство без берегов,
И грешные души там вкушают покой».

Уже треть жизни моей прошла.
(В узком гроте Эола гудят ветра.)
В пустоте сижу одинокая, и рекой
Вливается взор мой в бесстрастную
Беспредельность небес,
И непостижимо, мысли мои о чем...

5. С надежды начинается каждая из дорог.
Из веры свое начало берет.

Но в свой черед, как говорится, треснет кувшин...
Капризный вечер в марте, и за окном
Сумеречный пейзаж вспоминаем.
Наш синеющий город. И слева боль
Поднимается мучительно, а потом
Рассекает пространство изранивший горло крик,
И рушится гармония сфер от незрячей сечи.
На туберкулезные плечи
Медленно, как ожерелье, кругами
Падает янтарная влага,
И никто не несет обещанных четок...
Каплет янтарь и грядет расплата...
Все дороги начинаются под ногами.
И все ведут в долину Иосафата.
Беспристрастен суд его,
Вездесуща ока его зеница.
Здесь в долине, никому не суждено откупиться.
Только тяжелых ворот изматывающий скрип.
И на вопрос-шип, вонзающийся в сердце,
На проклятый вопрос-итог —
«Когда же дойдешь ты до перекрестья дорог?» —
Можно не отвечать.

Десятое каприччо

О, Горгона!
О, погасший свет глаз!
В чьей памяти прозревает твой убийственный взгляд,
Когда так неправдоподобно близка зима,
И ветер рыдает...

Помоги —
Сегодня во мне плетет сеть тысяча пауков.
Свет исчез. Сквозь череду облаков —
Мрак. И мечта — как дымящийся Карфаген.
Над руинами свист ветра и стрел...
Как лист передо мной беспомощно бел!
И жизнь напрасна и бесцветна, как лист.

Где ты?!
Остров горящих снов
Тоскою одет, как черный лотос.
Именем твоим ныне



Поименована моя мука.
А ты — судьба,
Та, что и коварна, и драгоценна.

Проклятая судьба...
И мое упрямство —
Пыль у твоих ступней, твоя служанка.
Меня на костре сожгут, как колдунью,
Чтобы не окликала тебя туманной ночью,
Чтобы не помнила тебя, не любила
На этой земле горячей и грешной,
На этой грешной земле, незрячей,
Сколько раз возжаждала тебя —
Столько боль, как оспа,
Оставила след на скулах.

Помоги!
Сегодня,
Как в ранете, во мне соблазн,
Зреет злое виденье,
И грядущего серебряный волос
Шатким мостком раскачивается в черном пространстве.

Солнце остыло.
На незримом мысу
В бухте ожидания тень
Смерти раскинулась, как Медуза.
Здесь, наверное, все сметет ураган,
Чтобы вновь первозданный хаос царил.
Здесь каждый май —
Как пенье среди могил,
Нескончаемая скорбная весть.
И нет никого, чтобы исчезть
Зло, принесенное временем,
Изливается с вершины желчи поток,
Если запыленный, утомившийся от дорог,
Снова ты не со мной.

Перевод Владимира ЕРЕМЕНКО





Гроза

Разразилась гроза,
 освещая деревья в овраге.
 Одиночество дней
 обнажило подспудную власть.
 А из бездны небес,
 разряженных пронзительной влагой,
 Семиструнная Боль
 на зеленые склоны рвалась.
 Эта ночь, этот гром,
 эти молнии, залпы алмазов,
 И лавина воды,
 как испарина жгучих небес,
 Растворились во тьме.
 И почудилось глазу,
 Будто сам Океан
 проглотил эти горы окрест.

Что ты скажешь, душа,
 изнуренная будничной нудью,
 Когда сам Небосвод
 доверяет секреты тебе?..
 Ты, конечно, опять
 оговорками тешиться будешь
 И счета предъявлять
 станешь вновь несуразной судьбе...
 Но при чем тут судьба
 и твоё ущемленное нечто,
 Когда небо с тобой
 говорит на своем языке,
 Когда рядом с тобой
 сатанеет сама Бесконечность,
 Босоногий простор
 с головою в терновом венке!
 Что ты можешь сказать,
 что ответить стихии ты можешь,
 Если суть муравья
 ты доселе постичь не сумел?..

Вот стоишь, онемев,
а инстинкт уточняет под кожей
Невесомость твою,
твой решительно бранный удел.



Утихает гроза,
оставляя тебе в назиданье
Наступление дня
в переливах алмазной росы...
И задышет земля,
и продолжит свое созиданье,
На зеленых лугах
распуская прозренья ростки.

Крапива

Скажи, крапива, почему
скрываешь свой огонь
под бархатом зеленым?
За что
мне причиняешь боль
и от кого
ожогом защищаешься?

Молчит крапива,
как молчат
все касты неприкасаемых.

Пересмешник

Человек, который смеется,
сохраняет в себе
лишь оскомину смеха,
сердцевину его,
а брызги,
раскаты,
захлеб свой
оставляет природе в залог.

Пересмешник — эконосец.

Он разносчик остатков
конфуза людского.

* * *

Я исходил немало стран
И видел, как он корчился,
Наш мир, от хвори и от ран,
Но и от словотворчества.

Смешное слово «бильбоке»
Из языка французского,
Коль зарифмуешь с «на Оке»,
Получишь нечто русское.

Кокетливое «флуэраж»
Молдовой обожаемо.
Есть вывески «кафе», «гараж»
И пристань «Вересаево».

А имена в наречьях всех!..
Фонтаном бьет фантазия.
Есть Арчибальд, Фридон и Лех,
Есть даже Евразия.

И, наконец, есть острова:
Борнео, Полинезия...
Все это были бы слова,
Не будь тебя, поэзия.

Словесный очищая хлам,
Плетешь стихотворение
И придаешь пустым словам
Святое измерение.



ФАНТАЗИЯ

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

...И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

А. С. Пушкин. «Пророк».

Утро принесли воробьи. Они взялись дружно долбить подоконник. В требовательном чириканье и перестуке крохотных клювиков с давно не крашенной жестью были разочарование и укоризна. Однако художник Гиви Платонович Антия, разбуженный этой какофонией, сумел различить в ней еще и вызывающую веселость, вроде бы некие насмешливые потки, — и день для него начался со светлого сожаления: вот, опять накануне забыл крошить хлеба... Прошлепав босиком по мастерской — последнее время, заработавшись допоздна, оставался здесь ночевать, — он исправил оплошность. Задернул окно марлевой занавеской, подождал, когда воробьи, в явно деланной панике вспорхнувшие с подоконника, вернуться, с удовольствием несколько минут наблюдал, как они клюют. Было очень смешно: крошек на целую стаю, а они вдохновенно изображают борьбу за существование, — двое увлеченно дрались из-за облюбованного катышка. В этой суете легко было увидеть дурашливую нарочитость, игру, уступку инстинкту... Художник любил воробьев, как и всякую живность, на ворчание жены («Везде потом свои отметины оставляют!») серьезно говорил:

— Воробьи — хорошие ребята. В них есть независимость и чувство юмора. Пусть живут.

Человек, увы, не птица, и то, что составляет важ-

нейшую часть смысла воробьиной жизни, его может занять лишь ненадолго. Скользнув сознанием по этой банальной истине, Гиви Платонович отправился под душ. Так называемая горячая вода, с завидным постоянством мало отличавшаяся от холодной, помогла ему окончательно воссоединиться с действительностью. Сегодня она была представлена следующими реалиями: ясным весенним утром, уверенно сулящим жару позднее; относительной тишиной на проспекте, отделенном от мансарды пятнадцатью этажами дома-коробки, причем малочисленность машин объяснялась не ранним часом, а воскресным днем; вытекающим из последнего факта приятным сознанием, что не придется идти на службу... Но такова была объективная действительность, общая для всех. Для Гиви Платоновича, как и для любого другого индивидуума, существовали еще личные обстоятельства.

Близкому другу обещал он иллюстрировать книгу — в ту пору, три года назад, будущую книгу. Прочитав тогда первые рассказы, которым предстояло трансформироваться в первую часть большого романа (автор начинал об этом догадываться), художник принял предложение с охотой и радостью. Облеченное в свойственную писателю форму застенчивой иронии, оно прозвучало примерно так: я напишу великолепную, каких никто раньше не писал, книгу, и ты ее блестяще, как не под силу никому другому, иллюстрируешь... Они дружили со школьной скамьи, а встречались редко и нерегулярно; оба понимали, что такова печально присущая времени неизбежность, и она не омрачала их отношений.

Шло время. Литератор делал свою сокрытую от окружающих работу, издавна представляющуюся художнику прекрасно-недоступным, таинственным, не поддающимся анализу действием.

Откуда, из каких глубин подсознания всплывают лица, характеры, речи, поступки, совершенно необъяснимым образом сплавляющиеся затем в людей — часто похожих на известных ему, порою хорошо знакомых и все-таки не существующих в обыденности людей? Почему, вследствие каких странных случайностей события неожиданно меняют направление развития и в друг, однако вполне обоснованно, устремляются в ту, а не

981035940
0000000000

иную сторону, чтобы вылиться в финал, который невозможно было предвидеть? Что создает эти случайности, главное, наделяет их всемогуществом закономностей?.. И так далее, и всегда без ответа.

Тем временем писатель, с чистой завистью порою следя за рождением рисунка, неизменно восхищался и удивлялся в итоге одному и тому же — бесплодности своих попыток понять неизбежность возникновения на холсте или бумаге штриха, линии, пятна именно той, а не другой длины, насыщенности, направленности, объяснить predeterminedность сложения из них законченной картины, рождения целого.

Художник учил студентов на кафедре рисунка и только в свободное время, урывками работал над тем, над чем хотелось работать. Литератор тоже писал свой роман как бы контрабандой — в основном батрачил на газеты и журналы; и у него была семья. Обоим жилось непросто. Ведь реальность, питая воображение, одновременно стремится приглушить голоса и краски, которые необходимы фантазии и только мешают в практической жизни... И каждый из них горячо сочувствовал другому, по опыту зная, как мучительно вынужденное совмещение в принципе несовместимых дел, — молча сочувствовал.

Время идет медленно — проходит быстро. Рукопись была закончена, отредактирована, разногласия с издательством улажены, роман принят. Полушутливый товарищеский договор с огорчительной легкостью превратился в деловое соглашение художника Гиви Антия с отделом иллюстраций — «огорчительной» потому, что обрел вид задания со строго определенным сроком исполнения. То, что казалось простым, не требующим особых усилий для осуществления, сулящим больше принести отдохновения, чем вобрать в себя труда, — ведь он последовательно знакомился с написанным, и все ему нравилось, было созвучно уму и сердцу! — внезапно предстало делом удручающе сложным.

На первых порах Гиви Платонович попросту легкомысленно откладывал работу «на завтра» — с присущим многим талантливым людям подсознательным страхом перед изнурительной схваткой с самим собой, в которую всегда воплощается процесс творчества, с

малодушной надеждой оттянуть наступление этого момента. Ему слишком хорошо была известна диалектика противоборства счастливо-мучительного состояния душевного подъема, вызываемого вдохновением, с инерцией покоя — нормальной потребности человеческой природы. Мысленно он уже видел, как садится за работу, набрасывает первые штрихи, пытаясь нащупать путь, найти образам, вылепленным товарищем из глины слов, адекватное графическое изображение; испытывал охлаждающую тревожную радость в предвкушении счастливой полноты жизнеощущения... И тут же почти физически воспринимаемым удушьем являлось воспоминание о неимоверной тяжести этого труда.

Конечно, не именно оформление книги, написанной другом, виделось ему тяжким испытанием. Так бывало всегда в редких случаях, когда Гиви Платонович получал возможность и решался поработать по-настоящему... Занятия в академии давно сделали его, по собственному определению, «ходящей по кругу лошадь» — прежде всего в силу необходимости из года в год неотступно следовать безнадежно устаревшей, рутинной учебной программе. Возмущала не только косность методологических и прочих рекомендаций; еще больший гнев вызывали бесстыдно-откровенный протекционизм, довольно небрежно закамуфлированное лихоимство особенно наглых сослуживцев («коллегами» он их именовать не желал) и обыкновенное равнодушие, безответственность большей части остальных. Потому в первую очередь, что это открывало путь в «искусство» зараженным ранним прагматизмом посредственностям и оставляло за бортом способных абитуриентов. А еще — от врожденного отвращения к любого рода нечестности... Но, негодуя и возмущаясь, Антия не пытался бороться: не верил в успех и чересчур уж был мягок, точнее — слаб характером.

Наряду с постылой преподавательской работой приходилось заниматься и кое-чем похуже, а именно — братья за частные заказы. Потребность запечатлеть на холсте одолевала преимущественно стареющих дам. Все они настаивали, причем несомненно искренно, чтобы художник ни в малейшей мере не льстил им, не приукрашивал оригинала... И каждая страстно желала выглядеть на портрете привлекательной. Это было ужасно,

однако заказы оплачивались хорошо, а семья требовала деньги. О двадцатилетнем сыне-студенте жена непрекаемо говорила: «Чем наш мальчик хуже других? Посмотри, как все они живут!..» О младшей дочери выражалась короче и внушительней: «Девочка выросла...» Два слова вмещали и то, какая она красавица, и как респектабельно выглядят ее подруги, и, конечно, что надо подумать о ее будущем... А материнская любовь — дело святое.

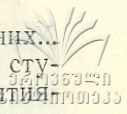
Гиви Платонович думал иногда: мне, безусловно, хуже, чем другу, для газет куда легче писать — настрочил и забыл... Спыхватывался: да как же может быть легче?! Эх, проклятая жизнь... Ему очень нравилось то, что и как писал друг. У них было единое нравственное и эстетическое кредо, хотя оба стеснялись и никогда не употребляли подобных слов.

Освеженный, наспех позавтракавший, проследив, как выползшее из-за горы солнце, порезвившись на серебристых конструкциях телевышки, всплыло наконец над городом, Антия уселся за низкий рабочий столик, уперся подбородком в кулаки, добросовестно принялся настраиваться на работу.

Как выбрать из великого многообразия человеческих проявлений, калейдоскопа событий, пестрого изобилия мыслей и чувств героев—этой стройной сумятицы жизни, воплощенной в слово, — главное, определяющее, существенное и выразить всего лишь в шести (соответственно издательскому требованию) рисунках? Да тут десяти альбомов не хватит! Хотя... Он радостно встрепенулся навстречу смутно обозначившейся «зацепке». Почему он сначала не сомневался, что легко справится с задачей? Потому что друг по сути дела всегда пишет об одном и том же. Нет, не ограниченность — верность теме! Его вещи правомерно сравнить с братьями и сестрами. Их объединяет кровное родство, живущее в разрезе глаз, оттенках кожи, тембре голоса, манере двигаться, характерных жестах... Тем не менее ошибкой было бы говорить о тождестве. Даже близнецы, при подчас невероятных совпадениях привычек, склонностей, внешних особенностей, подверженности одним болезням и т. д., непременно остаются личностями; последнее же понятие — синоним неповторимости. Он поймал себя на профессиональ-

ном видении родственных черт: разрез глаз, жесты, оттенки цветов... Смущенно улыбнулся, велел себе отбросить праздную игру мысли, сосредоточиться. Кажется, вырисовывалось что-то... Да, вот так: о чем и как ни писал бы мой литератор — с мягкой усмешкой ли, с горьким сарказмом, искусно используя подтекст или, наоборот, демонстративно прямо, «в лоб», не утруждаясь поисками метафоры, — неизменно противопоставляет он Злу — Добро и с детской открытостью, с наивным простодушием, «во весь голос» объявляет, по какую сторону баррикады его место. Прекрасно, конечно. Но в свете моей задачи этого недостаточно, ибо очень уж общо... Вот отец боролся с конкретным злом. Куда конкретнее: дула винтовок, направленные в грудь, и смертная тоска, возможно разорвавшая сердце раньше, чем в него ударила первая пуля... А вообще-то вся его борьба заключалась до того в одном лишь — сам не зная, мешал злу, живой преградой стоя на его пути; честностью своей мешал, верой, убежденностью. И, кроме того, трагически случайно, поскольку отнюдь не был фигурой важной, значительной, угодил под страшную машину властолюбия, жажды выдвинуться, любой ценой утвердиться — и возвыситься. «Антисоветские мятежи» фабриковались по универсальному рецепту. Поступал сигнал о «готовящемся выступлении агентов империализма», предписывалось грудью встать на защиту родной Советской власти, крестьяне с готовностью брались за берданки, сохранившиеся кое у кого, за топоры и вилы... Потом части внутренних войск умело расправлялись с людьми, с ужасом вдруг узнавшими, что они и есть «враги» и «агенты». Когда пришли за большевиком с дооктябрьским стажем, скромным председателем Совета в родном селе Платоном Антия, он, понимая, что его ждет, засел на чердаке с трехлинейкой и, прежде чем кончились патроны, успел застрелить четверых. Затем выпрямился, встал во весь рост — и те, вне себя от ярости, не смогли удержаться, открыли огонь...

Мысль об отце и через тридцать с лишним лет заставляла сердце биться сильнее. Художник поднялся с табуретки, подошел к портрету, который написал студентом с чудом сохранившейся желтой, три на четыре, фотокарточки. После реабилитации и некоторых других



событий портрет просили два музея, и один из них... предложил деньги! Кстати, по тем временам, для студента, — немалые. Вспомнив об этом сейчас, Антия младший сжал кулаки. Осмелившийся предложить — не враг ли тоже?! Его роднит с теми бездуховность, а значит безнравственность; постыдная изменчивость одномерных жизненных установок связывает тех и других над пропастью десятилетий... Мужество избавило отца от мучений, но не спасло ребенка от клейма сына врага народа, а когда оно было снято — от непроходящей раздвоенности мировосприятия. Не в ней ли гнездится первопричина того, что не сложилась, не удалась жизнь и, как он ясно понимал теперь, на шестом десятке, уже не сложится?.. Или дело просто в принадлежности к неприкаянному семейству рожденных художниками?.. Мы, натуральные, не из тщеславия или глупости, не ценою обмана и насилия над собой достигшие такой принадлежности, — вечные рабы своей природы. Морские змеи беспомощны на суше, орлу необходимо броситься вниз со скалы, чтобы взлететь выше всех прочих птиц... Гиви Платонович мысленно произнес это неторопливо, без всякой стеснительности, уверенный в праве на такую гордыню.

Душевная судорога прошла. Он бросил виноватый взгляд на прямоугольник девственно чистой ватманской бумаги, безнадежно вздохнул, решил выйти прогуляться, «проветриться, а потом...» Лукавил перед собой. Не получалось у него с этой, по обычным меркам простой, работой. Иллюстрации надо было сдать еще неделю назад, из-за них рукопись не засылалась в набор. Было стыдно перед молодыми сотрудниками отдела — они могли быть в числе его учеников. А от друга Антия попросту с мальчишеским малодушием прятался, терзаясь благодарностью за то, что он даже перестал звонить. Еще хуже было другое: в последние дни он ловил себя на чувстве враждебности к нему — порождении собственной вины — и мучился сильнее. Преувеличиваю? — подумал устало. — Нет. Вовсе не обязательно совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы мучала совесть. Дело не в масштабах безнравственного деяния — в том, как сам его оцениваешь. Иной убийца озабочен только страхом перед наказанием... Наконец угрожающе, со стоном поскрипывающий лифт остановился.

Художник вышел во двор, в нерешительности огляделся. Утро было отличное, и еще не увял недолговечный час, когда и здесь, на дне железобетонно-асфальтового дворового колодца, можно ощущать себя частицей природы... Правда, при известном заряде воображения. В уши, оглушительным подтверждением факта, что сегодня он поднялся на редкость рано, ворвался крик молочницы Батмы:

— Ма-а-лако-маццони!...

Она увидела Гиви Платоновича, радостно устремилась к нему, с неестественной легкостью неся в обеих руках огромные позвякивающие сумки.

— Тебе сколько, художник-джан?

— Три, как всегда, — сказал он, роясь в карманах, привычно стараясь понять, кто же все-таки эта Батма — армянка, азербайджанка, гречанка? Досадливо отмахнулся от никчемного вопроса, протянул две рублевки: — Отнеси, пожалуйста, домой.

С молочной он говорил так же, как с ректором академии.

— Сдачи нет! — быстро сказала Батма, с надеждой на него посмотрев.

— Ладно уж...

С воодушевлением возобновив вопли, она скрылась в подъезде. Антия пересек двор, подошел к своему старенькому жигуленку.

Покрытые слоем застарелой грязи фары глянули на него, почудилось, укоризненно. Вот, подумал художник, еще один, перед кем я виноват. Он подумал это не то чтоб совсем уж шутливо, потому что привык одухотворять окружающее — и воробьев, и деревья, и машины, и карандаши. Все они вели себя, в зависимости от его настроения, состояния души и тела, в разное время по-разному. Он не садился за руль дней десять. Не хотелось. Старею? Да нет как будто, просто не тянет.

Обошел машину вокруг, проверяя, не трогал ли кто-нибудь. Воришки обнаглели, недавно у соседа вскрыли капот «Волги», вырвали провода и шланги.

Все было в порядке. Он решил запустить двигатель, дать аккумулятору подзарядиться. И увидел на капоте ветку. Наверное, мальчишки сбили мячом. Рассеянно взял с прохладного пока металла, поднес к лицу...

Удивился шевельнувшемуся чувству и тут же понял, отчего оно.

Веточка была совсем свежая, даром что глубоко расщеплена в месте, где отломилась. Неправдоподобно миниатюрные, с младенческий ноготок, листья словно вырезаны искусной рукой из малахита... При чем тут малахит? Листочки дышали жизнью — ни намека на увядание! Он подумал: в дереве больше жизненной силы, чем в животном; животное бы наверняка уже было тронуту тленом, ведь целая ночь прошла. И еще: не верно сравнение ветвей с руками. Оторванная конечность являет собой трагически отвратительное зрелище. Здесь же — истинная Красота, а красота не может быть мертвой, она не имеет ничего общего со смертью. Гиви Платонович понял: ветка красива потому, что, отломленная, она сама сделалась независимо живущим существом. В ней есть все для самостоятельности. Недаром, как говорят, если посадить ветку тополя в землю, то из нее вырастет новое дерево... После гибели Платона его вдова несколько месяцев скрывалась в заброшенном домике лесника, и односельчане, жалевшие молодую женщину, тайком носили ей еду. Благородство простых людей, рисковавших — без преувеличения — жизнью, спасло ее и ребенка. Из лесу мать перебралась в большой город, где легче было затеряться и тоже нашлись добрые люди. Гиви Платонович был стопроцентный горожанин, о чем с годами жалел все больше. Проклятый парадокс, — изредка говорил он себе и другу, — я родился художником — и полностью отчужден от Природы! Между тем что есть художник в широком понимании, если не воплощенные в человеке творческие силы природы (раньше говорили — «божий дар»)... Он позорно мало знал о растениях и животных, но что дерево, под которым стоит его машина, — тополь, ему было известно.

Художник раздумал заводить машину и, как был в потрепанных, заляпанных красками джинсах и домашних тапочках, отправился в пекарню за свежим утренним хлебом... Ветку он унес с собой, было бы кощунством бросать ее — все равно что беспомощного котенка, щенка бездомного подобрать и бросить опять на произвол судьбы.

По пути встретился сосед, прогуливающий собаку,

и Антия минут десять походил вместе с ними. У ворот остановился поболтать с мусорщиком — шофером замызанной машины с претенциозной надписью на борту: «Специальная». Далее ему встретились: профессор из стоявшего впритык университетского дома, знакомый милиционер, милая женщина из пятиэтажки напротив — разведенная, с тремя славными ребятишками, ночной сторож, превосходно выспавшийся за время дежурства, направлявшийся по дороге домой на рынок... С каждым Гиви Платонович обстоятельно побеседовал о том, о сем, и всякий раз стороны расставались исполненные взаимной симпатии.

Войдя в квартиру, он приготовился безучастно выслушать упреки жены («Куда ходил в такую рань? За чем? Мы тут с голоду помираем!»), но она сказала:

— Ты что это притащил? Какая прелесть!

Художник увидел у себя под мышкой — обе руки были заняты, одна хлебом, другая целлофановым пакетом с прихваченной на всякий случай картошкой, — тополиную ветку и обрадовался доброму восклицанию жены, и спросил:

— Правда, совсем как целое дерево? Ну прямо живое существо.

Судя по снисходительному, с примесью сострадания, взгляду, она не приняла этого заключения. Все же, далекая от пантеизма, благосклонно разрешила:

— Поставь в воду — может, оживет... У себя в мастерской, конечно. — Деловито добавила: — Кто знает, будешь что-нибудь... кого-нибудь рисовать — пригодится.

Она работала инженером в конструкторском бюро, но не профессия была основой ее сугубой трезвости во взглядах на вещи. Всем цветам жена художника предпочитала гвоздики — за престижность и дороговизну; он их терпеть не мог.

День тянулся, по воскресной традиции, долго и бестолково. Вперемежку — телевизор, недочитанная книга, телефонная болтовня, заглянувший по пустяковому поводу сосед... До вечера Гиви Платонович и не пытался приступить к делу, так как за завтраком еще, обманывая себя, неведомо чем руководствуясь, постановил: днем все равно ничего не получится.

Стемело. Он принудил себя подняться в мастер-

скую. Пешком — опять испортился лифт — скорбно тащился по лестничным пролетам, твердя в уме: хоть до утра буду сидеть, но разделяюсь с этим кошмаром, он мне жизнь отравил, в какое-то наваждение превратился!

Однако по-прежнему не мог сдвинуться с мертвой точки.

Было ясно: нужна идея. Найдешь ее — и все станет на место, как по рельсам покатится, набирая скорость. Создание рисунка как такового проблемы не составляет. Трудность, проклятая и невыразимым счастьем одаряющая, в ином. Недостаточно понять, прочувствовать квинтэссенцию романа, тоже в сладостной муке сотворенного другом. Он, художник, обязан — в ответном творческом порыве — найти новую «пятую стихию», соответствующую его искусству, и в ней, посредством рисунка, воплотить равноценно мысль писателя. Эх, заставить бы себя отнестись к этой работе безмятежно-спокойно, расчетливо-деловито, освободиться от тиранической потребности души сделать иллюстрации лучше, чем все сделанное прежде... «Черт побери честность, вдохновение и дружбу! — выругался Гиви Платонович. — Куда приятнее писать портреты глупых раскормленных баб, которые с жиру бесятся, и мало им цветной фотографии — непременно живопись подавай!..» Однако он знал, что лжет себе и никуда ему не деться от острого чувства долга и вины.

С другой стороны, в чем он, собственно, виноват? Эти писатели, если вдуматься, изначально и по сей день пытаются доказать человечеству в принципе одно и то же, из века в век повторяют друг друга — в том, о чем пишут, и различить их можно лишь по тому, как они это делают. А о главном — откуда, почему, зачем во вселенной возникло сущее, отчего все обречено на умирание (или на жизнь в ином измерении?) — никто не способен... Он простыженно, смиренно подумал: а ты можешь? Одернул себя, призвал мысли к порядку. Это не оправдание и не выход. Сам сказал: каждый пишет по-своему, — вот и надо определить, в чем именно состоит неповторимость почерка твоего товарища, — и от нее плясать... Ха, легко сказать!

К полуночи на дощатом полу сложилась очаровательная мозаика из разорванных прямоугольников чер-

тежной бумаги. Антия залпом проглотил полбутылки «боржоми», завалился на свое спартанское ложе — руки под головой, ступни за краем короткого диванчика, — сердито уставился на узкое чердачное окошко.

Там, на старом ящике, стояла в банке из-под варенья давешняя тополиная ветка. Она попала в сноп света прожекторной лампы, которой сосед превентивно освещал свою новую машину, и была отчетливо, в деталях видна художнику. Небо окрасилось черной гуашью; после дневного зноя — утро выполнило свое обещание — собиралась гроза. На не запятнанном звездами фоне ярко озаренная ветка словно сама источала сияние. Гиви Платонович смотрел на нее неотрывно, бездумно наслаждаясь тишиной, нисходящей на город раз в неделю, в ночь с воскресенья на понедельник, когда большинство автомобилей отдыхает. Он смотрел и — то ли доверяя воображению, то ли на самом деле, — различал каждую мелочь: изящные контуры листьев-ноготков, тонкие жилки в почти бесплотном мезофилле, не успевшие до катастрофы стать листьями почки, воздушные шарики в расщеплении израненной древесины... При всем добродушии и мягкости характера, Антия не отличался чрезмерной сентиментальностью, но тут комок шевельнулся в горле. Почему красота всегда беззащитна? Зачем понадобилось дурацкому мячу угодить в эту живую хрупкость?! Мальчишки, конечно, не виноваты, они не хотели разрушения... Только не слишком ли часто непоправимое происходит из неведения?

До призрачности тонкие листья подернулись рябью. Ветер? Ночь за окном была неподвижна.

Художник протер утомленные глаза. Всмотрелся пристальнее. Листочки заколебались с удвоенной силой, ветка шевельнулась в стеклянной своей обители, заметно наклонилась вперед... Как будто к нему потянулась!

Старательно зажмурившись, он ущипнул себя за руку — больно. С опаской поглядел опять и натренированным зрением, в этот момент ничуть не сомневаясь в реальности восприятия, зафиксировал едва уловимое движение — по-прежнему к нему... «Да ясно же: переутомление!» — ухватился Антия за немудреное объяснение, прямо-таки вцепился в слово-соломинку. Рывком поднялся, упрямо вздернул подбородок, повернулся спиной к наваждению, тщательно примерившись, зверски

потянул себя за волосы в самом чувствительном месте, возле уха. Едва не взвыл, с облегчением констатировал: норма... Однако смотреть в сторону окаянной ветки не торопился. Обозлясь на себя, решился в конце концов — и голова пошла кругом.

Ветка торчала, под максимальным углом, насколько позволяла ширина банки, наклонившись в сторону диванчика, перед которым он стоял в ошеломлении!

На этот раз Гиви Платонович не успел испугаться, спасительно отвлеченный росчерком молнии по черному холсту неба. Гроза действовала на него как на резонатор — не то чтобы тревожа или там рождая упоение, которое есть в бою, а просто овладевала вниманием, заставляла смотреть на себя. Нынешняя ничем не уступала предшественницам, и художник заворуженно уставился в окошко. Увлечшись игрой света и красок, чья жизнь измерялась мгновениями, он обрел равновесие чувств, прощально, краешком сознания, объяснил «идиотские фокусы» ветки тем, что «глаза шалют, пора очки заводить», — и успокоился, больше об этом не думал, а размышлял о другом.

Вероятно, каким-то людям гроза нравится — или пугает — раскатами грома, запахом озона, свежестью близкого ливня... Я же не могу оторваться от зрелища, и вовсе не красочностью оно меня поражает, а вызывающей ирреальностью, неправдоподобной краткостью существования. Молния — упоенный и чрезвычайно требовательный к своим полотнам художник: рисует, тут же стирает, смело, наотмашь делает новый набросок, безжалостно перечеркивает и его... И спешит, спешит, пока не выдохнется... Он иронически заметил: «Ну и трепач же ты, Гиви Платонович! — Обиженно возразил: — Это еще почему? Во мне говорит профессионал, ничего особенного... — И обращаясь уже к грозе с ее огненными кистями: — А вы, мадам, молодчина, здорово у вас выходит! Только вот толком рассмотреть не даете...»

Внезапно он вслух, благо свидетелей не было, громко и радостно рассмеялся. Как бы принимая упрек, стихия-живописец преподнесла неожиданность. Из дальней дали небес примчался яркий луч, тоньше самой тонкой иглы, ворвался в окно, пронзил на пути игрушечно куцую крону тополиной ветки, оставил вокруг нее

голубоватое свечение и достиг удивленных глаз художника... Не ослепив, нет, а наоборот, надевая небывалой зоркостью, даром проникновения за пределы видимого, обыкновенному человеческому зрению доступного... Родное дитя общества здравомыслящих материалистов, Антия трезво сказал в адрес иллюзорного явления: это свет звезды, пробившийся в разрыве туч, или преломился луч прожекторной лампы, которая мешает мне спать по ночам, но вряд ли помешает автомобильным ворам... Дождь начался, крыши намокли, как зеркала сверкают... «Перстами легкими как сон моих зениц коснулся он... — шевельнулось в памяти отголоском школьных лет, и художник без усилия вытянул ниточку на нужную длину: — Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы.»

Школа воскресла в плоти воспоминания непрошено, разбудив неприязнь к безрадостному отрочеству, — как если пораненным пальцем неосторожно коснешься твердого и скривишься от саднящей, раздражающей боли... К школьному двору примыкала какая-то оранжерея, и когда мяч перелетал за высокую стену, утыканную подлыми осколками бутылочного стекла, служитель, нестарый, всегда взвинченный мужчина, подолгу, даже если мяч безвредно попадал на землю, изводил их угрозами конфисковать драгоценный по тем временам спортивный снаряд и пожаловаться директору. Видимо, он был мелким, этаким, за отсутствием более широких полномочий, «бытовым» садистом, подумал сейчас Гиви Платонович; ну да ведь и такие жалкие извращения массово плодятся на почве благоприятных социально-политических обстоятельств, соответствуют духу времени... Мысль развивалась вне ассоциативной последовательности, вычурность ее поворотов развеселила художника. Через тридцать с лишним лет он, например, понял, что не случайно имел в выпускном классе рекордное количество двоек — из подсознательного протеста не желал учиться, лишь рисовал и рисовал... Теперь он вспомнил это с гордостью.

Начисто забыв о недавних выходках ветки, Антия умиротворенно любовался поредевшими, удаляющимися вспышками молнии. Гроза шла на убыль, но таинственно протянувшийся в пространстве голубой луч все еще связывал его — через многократно уменьшенную жи-

вую копию рослого дерева — с непостижимо далеким чужим солнцем. А ведь звезда в сущности относится к иному измерению, подумал художник, потому что этот ее свет миллионы лет неся в бесконечности и, возможно, источник его давно умер... Итак, при всей внешней романтичности, будоражащей фантазию необычайности, феномен имел весьма прозаическое объяснение. Однако эта обыденность не отняла у человека ощущения единства, даже родства с наверняка погибшим уже чудовищным сгустком огненной энергии и, одновременно, с веткой дворового тополя, полого торчащей из банки с обрывком этикетки на боку.

И тут голубой луч исчез.

Гиви Платонович сообразил, что стоит раздетый на холодном полу, у распахнутого окошка; взглянул на часы — начало третьего, испытал сильную усталость, шагнул было к постели... И внезапно вспомнил все. Никакого смятения чувств. Движимый больше озорством, нежели конструктивной идеей, он сходил в заднюю комнату, заваленную всяким хламом, посмеиваясь, порылся в нем и нашел искомое — достаточно глубокую и вдвое шире банки глиняную миску. Налил до половины воду, вернулся к окну, переместил ветку в новый сосуд. Держа в левой руке, правой плотно закрыл окно, тщательно проверил задвижку; теперь ни ветер, ни дождь, ни какие-либо другие силы извне не смогут нарушить установленный им порядок вещей. Позаботился, чтобы беспокойная гостя лежала почти горизонтально и смотрела во двор, была бы в положении, так сказать, «спиной» к нему... Мысленно почти всерьез предложил: «Вот теперь покажи, на что ты способна!» — и вприпрыжку устремился к дивану.

Он заснул сразу, проспал, как определил потом, пять часов, зато крепко-крепко, даже вновь разразившейся сильнейшей грозы не слышал. Опять поднялся с рассветом — отдохнувший, свежий, в превосходном настроении.

Воробьи демонстративно клевали чисто вымытое железо подоконника, в чирикание явственно слышалось негодование по поводу его, Гиви Платоновича, очередной забывчивости. Художник виновато поспешил к шкафу, затем, на ходу кроша хлеб в ладони, обратно — и споткнулся, замер на полушаге, вновь, наконец, вспом-

нив вчерашнее в деталях, до мелочей... Сдерживая нетерпение, в равной мере опасаясь и разочарования, и чуда, не торопился смотреть туда... И вот посмотрел.

Ветка стояла, точнее лежала, наклонясь в перед, вновь к нему, в сторону диванчика, на котором он так сладко сегодня спал!

Со странным спокойствием, очень деловито Антия перебрал возможные реальные причины случившегося. Все-таки ветер? Задвижка была на месте. Мыши? Их давно не водилось в его и соседних домах. Кто-нибудь ночью заходил в мастерскую? Дверь была на цепочке. Землетрясение, может быть?.. Чепуха!

Тогда он осторожно взял ветку из воды и увидел: несколько почек лопнуло, проглянули узкие, как расплющенные иглы, листики. Она жила. Гиви Платонович, почему-то на цыпочках, совершил путешествие к крану и сменил ветке воду. Подал завтрак воробьям. Тут произошло новое чудо, о котором он мечтал давно и безуспешно: серый живой комочек скакнул вдруг на большой палец художника, уцепился для надежности коготками за кожу, принялся склевывать налипшие на ладонь крошки... Счастье длилось не менее полминуты, и воробей часто сбоку взглядывал в лицо человеку.

Наскоро покончив с досадными утренними необходимостями вроде завтрака, Антия позвонил коллеге-приятелю, предупредил о том, что сегодня прийти на работу не сможет, услышал в ответ: все будет как надо — и торопливо уселся за рабочий стол.

Перед уходом в свое КБ заглянула в мастерскую жена, открыла рот, чтобы потребовать объяснения, почему он изволит быть еще дома, однако раньше раздался грозный рык. Не испуг — величайшее изумление лишило ее дара речи и заставило быстренько удалиться, а художник тотчас вновь отрешился от окружающего.

Он нарисовал тополиную веточку с натуры, изобразил ее в точности такой, какой она была: тонюсенькой, незащищенной, трогательно юной, хрупкой до противоположенного мужчине слезного комка в горле... О нее разбивался могучий, острый, тяжелый двуручный меч, и не то искры, непонятно как высеченные при этом столкновении, не то брызги раскрошившейся стали казались отблесками вчерашних ночных молний... Это было

здорово! Перенасыщенное гибельной мощью Зло ломалось и издыхало, ударившись о слабое как ребенок Добро. Худшая из придуманных и сотворенных человеком вещей — оружие — была бессильна, уродливо-недостойна, мерзко беспомощна перед тихой красотой естественной жизни. Более того, вознамерившись убить, злоба погибала сама.

До вечера художник сделал всю работу. Что еще нарисовал он — рассказывать не стоит, не имеет смысла; нельзя рассказать о том, что надо видеть.

На следующий день Гиви Платонович совершил три поступка.

Рано утром он высадил свою веточку в землю на окраине асфальтового дворового царства, прямо напротив бюста одного утвердившегося в истории мертвеца; памятник с ностальгической верноподданностью был заказан, установлен и оплачен из личных средств соседом по лестничной площадке, персональным пенсионером, который ничего не понял и сердечно благодарил художника за солидарность.

В перерыве между занятиями к Антия подошел сзади, дружески обнял за талию, доверительно задышал в ухо заведующий кафедрой:

— Ну, дорогой, надеюсь, промблема уже решена?

Он всегда говорил «промблема» — не потому, что не умел правильно, а как бы с юмором. Имелась в виду просьба выставить некоему выпускнику-недотепе отличную оценку, хотя тот на тройку еле тянул. До сих пор Гиви Платонович, не умея противостоять вкрадчивой наглости подобных просьб, странно однотипных у совершенно, на первый взгляд, не похожих людей такого сорта, — в итоге малодушно сдавался. На этот раз отчетливо произнес:

— Нет. Ваш протеже — бездарный лентяй.

Никак не ожидавший отказа, тем более в столь резкой форме, начальник, уязвленный в самое сердце, сначала даже отшатнулся; быстро взяв себя в руки, мгновенно оценив ситуацию, с угрозой переспросил:

— Что-что? Вы меня, похоже, в протекционизме обвиняете?..

— Нет, — еще отчетливее повторил Антия, заставил себя бесстрашно взглянуть в глаза заведующему, добавил внятно: — Вы взятки берете, не у в а ж а е м ы й.

— А у вас... — взвизгнул и перешел на шепот/зав, — доказательства есть?!

Он, конечно, выдавал себя этим, однако только перед Гиви Платоновичем и — опытный был негодяй — прекрасно понимал, что ни малейшей опасности здесь для него нет. В свою очередь Гиви Платонович, не маленький все-таки, тоже знал: столь тяжкое обвинение, не подкрепленное доказательствами, чревато самыми неприятными последствиями... Ну и пусть, подумал он, пусть куда хочет на меня жалуется! А я ему сейчас по морде дам.

Вряд ли тот тип умел читать мысли. Тем же менее он перестал яростно таращить глаза и быстро ушел, ничего больше не добавив... И, забегая вперед, надо сказать, что на том дело кончилось.

Вечером, словно ненароком заглянув на огонек к соседке, у которой давно стояли на подоконнике ужасно чахлые лилии и фиалки в горшках, Антия весьма дипломатично (так ему, во всяком случае, казалось) заметил, что любовь к цветам — проявление чувства прекрасного в человеке. Польщенная женщина заставила его принять цветы в подарок, и они переселились в мастерскую.

Уже за ужином Гиви Платонович едва не совершил четвертый за день поступок. Увы, не суждено, видно, было... То есть завершился счастливый день, по всем признакам, триумфально. Когда жена уверенно информировала художника о том, что на днях явится очередная милая дама, желающая послужить ему моделью для большого портрета, он, еще исполненный боевого духа после моральной победы над мздоимцем, категорически отказался. Ни в данном конкретном случае, ни в обозримом будущем, и вообще никогда больше не станет он профанировать высокое искусство живописи! Против ожидания, протест был принят без возражений, даже с сочувственным пониманием... Да только в ближайшую субботу Антия покорно и, поскольку иначе он не умел, очень добросовестно писал портрет старой дурь, натренированно скрывая отвращение к ней, к ненавистной работе и к себе самому — за то, что не устоял опять, сдался... И все же поступки не прошли бесследно.

Спасенная ветка тополя, при всей скудности агро-

номических познаний художника, воткнувшего ее в землю как обыкновенную палку, принялась сразу, легко, охотно и обещает вырасти в настоящее дерево.

К нему больше не обращаются с просьбами завысить оценку какому-либо «хорошему мальчику» или девочке, хотя это, разумеется, не означает, что нечистые на руку коллеги перестали брать взятки, — просто у проходимцев есть бесперебойно действующий особый вид телеграфа, а также острое чутье на опасность.

Наиболее богат последствиями был самый незначительный поступок. Переселившись в мастерскую, заняв место на подоконнике, где около суток простояла тополиная веточка, лилии и фиалки немедленно ожили и похорошели — при том, что художник, с присущей ему бестолковой рассеянностью, довольно часто забывает их поливать. А порою, и не так уж редко, случается опять чудо: по цветам, по их листьям вдруг пробегает дрожь, едва уловимое поначалу движение усиливается (а ветра нет в помине, воздух в комнате неподвижен) — и стебли склоняются вперед, как будто тянутся к Гиви Платоновичу, пытаются о чем-то сказать... В такие минуты он верит, что когда-нибудь напишет свою настоящую картину.



СРЕДИ МЕРТВЫХ

РОМАН

Посвящается Пьеру Верит*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

— Понимаешь, Роже, — начал Жевинь, — я бы хотел, чтобы ты понаблюдал за моей женой.

— Черт возьми, Поль!.. Она что, изменяет тебе? — поинтересовался Флавьер.

— Да нет.

— Ну, а в чем же дело?

— Мне трудно тебе объяснить это, старик. У нее появились какие-то странности... Словом, меня беспокоит ее поведение.

— Ну, а что конкретно?

Пребывая в нерешительности, Жевинь посмотрел на своего собеседника. Конечно же, Флавьер хорошо знал, что останавливает Жевиня — ведь по натуре тот был и остался человеком недоверчивым. Флавьер помнил его все таким же. Еще пятнадцать лет тому назад, в студенческие годы, когда они вместе учились на юридическом факультете, — Жевинь был рассудительным, готовым излить свои чувства и, вместе с тем, в глубине души напряженным, смущенным и несчастным. И несмотря на то, что минуту назад при встрече он распростер объятия и воскликнул: «Роже, старик, как я рад вновь увидеть тебя!» — Флавьер тем не менее инстинктивно

* Верит, Пьер (1900—1960), один из наиболее знаменитых французских писателей детективного жанра (Здесь и далее прим. переводчика).

ощутил едва заметную неловкость, некоторую принужденность и натянутость в том, что его сокурсник по университету суетился несколько больше, чем следовало бы, да и смеялся он несколько громче. Ему так и не удалось изжить в себе свои привычки за минувшие пятнадцать лет, которые изменили внешний облик их обоих. Жевинь стал почти лысым, и подбородок его отяжелел, брови порыжели, а возле носа появились веснушки. Флавьер тоже выглядел уже не так, как прежде, он знал, что после того неприятного случая похудел и сгорбился, а из-за опасения, что Жевинь поинтересуется, почему он, сдав экзамен на работу в полиции, все же стал адвокатом, его ладони покрылись холодным потом.

— Собственно говоря, ничего конкретного я не имею в виду, — продолжал Жевинь. Он протянул Флавьеру дорогой работы портсигар. Галстук его тоже выглядел дорогим, как и восхитительного кроя твидовый костюм. Отрывая розовую спичку от коробки, на которой было написано название одного из самых дорогих ресторанов, он демонстрировал унизанные сверкающими перстнями пальцы. Он втянул в себя щеки и прежде, чем выпустить голубой дымок, произнес: — Нужно понять обстановку.

Да, Жевинь очень изменился. Чувствовалось, что он приблизился к кругам власть имущих, а за его спиной угадывалось членство во всевозможных обществах, компания солидных друзей, целая сеть связей и знакомств с влиятельными лицами. И вместе с тем глаза его остались такими же живыми, готовыми внезапно испугаться и спрятаться за тяжелыми опущенными веками.

Советским читателям хорошо известны романы Пьера Буало и Тома Нарсежака «Инженер слишком любил цифры», «Та, которой больше не стало», «Лица в тени», «Неприкасаемые», «Волчицы» и другие.

Роман «Среди мертвых», который мы предлагаем нашим читателям, несомненно является одним из лучших произведений детективно-приключенческого жанра. Известный англо-американский режиссер Алфред Хичкок снял по нему фильм «Головокружение».

— Обстановку? — повторил Флавьер с легкой иронией в голосе.

— Полагаю, что это наиболее подходящее слово, — настаивал Жевинь. — Моя жена вполне счастлива. Мы женаты почти четыре года... Средств у нас предостаточно. Со времени объявления мобилизации мое предприятие в Гавре работает на полную мощь. Кстати, меня не призвали именно из-за этого. Одним словом... учитывая обстоятельства, необходимо признать, что мы принадлежим к привилегированным слоям общества.

— А дети у тебя есть? — прервал его Флавьер.

— Нет.

— Продолжай.

— Итак, я говорил, что у Мадлен есть все условия, чтобы чувствовать себя счастливой. Но все же чего-то как раз и не хватает. У нее всегда был странный характер, часто менялось настроение, бывали периоды депрессий, а несколько месяцев тому назад ее состояние резко ухудшилось.

— А к врачу ты обращался?

— Разумеется. Я консультировался со всеми светилами. Но никто так и не смог у нее ничего обнаружить. Ты слышишь?

— Ничего с физиологической точки зрения, — согласился Флавьер. — Ну, а с точки зрения психической?

— Ничего... Ничего... Это здесь ни при чем!

Он стряхнул упавший ему на пиджак пепел.

— Ах! Уверяю тебя, это сложный случай. Я и сам сперва думал, что всему виной какая-то навязчивая идея, какой-то безрассудный страх, рожденный войной. Мадлен могла неожиданно погрузиться в молчание и едва слышала обращенные к ней слова. Или же смотрела пристально в одну точку... Уверяю тебя, что это очень подействовало на меня. Можно было поклясться, что она видит... даже не знаю что... Ну, наверное, какие-то невидимые другим вещи. А когда она вновь приходила в себя, то у нее оставалось какое-то потерянное выражение лица, будто ей приходилось делать над собой усилия, чтобы узнать свой дом... и даже меня самого...

Оставив в пепельнице горящую сигарету, Жевинь

сам уставился куда-то в пустоту с видом обманутого когда-то человека.

— Раз она не больна, значит, притворяется, — сказал Флавьер, теряя терпение.

Но Жевинь тут же поднял свою толстую руку, пытаясь сразу же опровергнуть это предположение:

— Поначалу эта мысль и мне пришла в голову, поэтому я решил немного понаблюдать за Мадлен. Однажды я вышел за ней из дома... Она направилась в Булонский лес, села перед озером и более двух часов просидела, не шелохнувшись, созерцая водную гладь...

— Это не страшно.

— Напротив, она созерцала воду... как бы тебе объяснить... внимательно, серьезно, словно это было занятие чрезвычайной важности... А вечером она заверяла меня, что из дому никуда не отлучалась. Как ты понимаешь, я не стал ей говорить, что все это не так.

Перед Флавьером постепенно восстанавливался образ прежнего его сокурсника, и эта игра уже начала раздражать.

— Послушай, — сказал он, — давай рассуждать логично. Твоя жена либо изменяет тебе, либо она больна, или же просто притворяется по какой-то неизвестной причине. Вот и выбирай.

Протянув руку к стоящей на письменном столе пепельнице, Жевинь стряхнул пепел и грустно улыбнулся.

— Ты рассуждаешь именно так, как и я, если бы, скажем, оказался на твоём месте. Я как раз уверен, что Мадлен не изменяет мне... а профессор Лаварен убедил меня в том, что психически она совершенно нормальна... Ну, а притворяться ей попросту ни к чему... Да и ради чего она стала бы притворяться? Чего ей не хватает?.. Люди ведь притворяются не только ради удовольствия. Кроме того, никто не станет просто так терять два часа в Булонском лесу... а ведь это далеко не единственная деталь подобного рода.

— А ты говорил с ней об этом?

— Разумеется... Я даже спросил у нее, какие чувства овладевают ею, когда она неожиданно погружается в мечтания.

— Ну, и что она тебе ответила?

— Что мне, мол, не стоит беспокоиться... что она

вовсе не мечтает, а просто так, как и многие, обеспокоена войной.

— А не кажется ли тебе, что она несколько скупает?

— Пожалуй. И кроме того, она словно смущена чем-то.

— А у тебя не было ощущения, что она лжет?

— Отнюдь. Напротив: у меня возникло ощущение, что она чем-то напугана... Я даже должен признаться тебе в одной вещи, которая, возможно, вызовет лишь улыбку. Помнишь тот немецкий фильм, который мы видели, кажется, в двадцать третьем-двадцать четвертом году в «Урсулинках», он назывался «Жакоб Боэм»?

— Да, помню.

— А ты помнишь выражение лица главного героя, когда его застают во время мистического кризиса и он пытается отрицать и утаить свои видения? Ну так вот, у Мадлен... у нее было точно такое же выражение лица, точь-в-точь, как у того немецкого актера... Несколько потерянный, слегка нетрезвый взгляд и глаза-щупальца...

— Ну вот еще! Не станешь же ты утверждать, что твоя жена подвержена мистическим кризисам!

— Я предполагал, что ты отреагируешь именно так... Точно так же, старина, как отреагировал бы и я! Я тоже вначале было воспротивился... и отказывался признать очевидное.

— Она у тебя набожна?

— Не более, чем все... Ну, посещает воскресные мессы... Но это, скорее, всего лишь дань традиции, привычка.

— А она случайно не из тех женщин, которые любят предсказывать будущее?

— Нет, повторяю тебе, что Мадлен может внезапно как бы переключаться, и невольно начинаешь замечать, что она уже находится в потустороннем мире.

— И это происходит с ней помимо ее воли?

— Вне всяких сомнений. Ты понимаешь, я уже привык наблюдать за ней. Чувствуя приближение кризиса, она старается как можно больше двигаться, говорить... Она даже встает, подходит к окну и открывает его, словно ей не хватает воздуха... или же на всю громкость

включает радио... Если в этот момент я вступаю в эту игру, если я начинаю шутить, болтать о том, о сем, то ее разуму все же удастся удержаться в рамках, оставаться... Извини за все эти подробности, но объяснить толком, что происходит с ней, совсем не просто. Если же, напротив, я делаю вид, что чем-то занят, рассеян или погружен в свои размышления, кризис неизбежен... Она замирает, ее глаза начинают блуждать в пространстве, ища какую-то таинственную точку... точнее, я полагаю, ей кажется, что эта точка движется... затем она глубоко вздыхает, прикладывает ладонь ко лбу и на пять-десять минут становится похожей на сомнамбулу...

— А у нее при этом возникают какие-то движения?

— Нет, честно говоря, я никогда не видел сомнамбул, но у меня создается впечатление, что она вовсе не спит, а просто рассеяна, как человек, не принадлежащий сам себе... Она очень изменилась. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что это глупо. И тем не менее не могу не констатировать: она стала совершенно иной.

В глазах Жевиня стоял неподдельный ужас.

— Совершенно иной — для меня это еще ничего не значит, — буркнул Флавьер.

— Ты что, не веришь в существование потусторонних сил?..

Положив свою жеваную сигарету на край пепельницы, Жевинь крепко сжал ладони.

— Раз уж я начал, — продолжил он, — то должен тебе рассказать все. Так вот: в роду Мадлен была одна довольно странная женщина... — Полина Лажерлак. Мадлен она приходилась прабабкой... Понимаешь, в поведении их обеих есть много общего. Прабабка, будучи еще девочкой тринадцати или четырнадцати лет, вроде заболела: у нее начались странные судороги, и люди, ухаживавшие за ней, слышали доносящиеся из ее комнаты какие-то настораживающие, необъяснимые звуки...

— Удары в стену?

— Да.

— Поскрипывание паркета. Словно по нему передвигают мебель?

— Да.

— Ясно, — сказал Флавьер. — Подобные явления

— не редкость и часто наблюдаются там, где есть девочки такого возраста. Впрочем, их никто и не пытается объяснить... И чаще всего они длятся недолго.

— Я не очень хорошо подкован в этих вопросах, — продолжал Жевинь, — знаю только, что Полина Лажерлак после этого случая осталась несколько не в себе. Вначале она даже хотела стать монахиней, однако затем отказалась от пострижения. В конце концов она вышла замуж, а несколько лет спустя без всяких на то причин покончила с собой.

— И сколько же ей было тогда лет?

Достав платок из верхнего кармана, Жевинь вытер губы.

— Двадцать пять, — пробормотал он. — Ровно столько, сколько сейчас Мадлен.

— Черт возьми!

Они оба замолчали. Флавьер задумался.

— И твоя жена, разумеется, знает об этом? — спросил он.

— В том-то и дело, что нет... Все эти подробности я узнал от тещи. Она рассказала мне об этой Полине Лажерлак некоторое время спустя после нашей свадьбы... Я тогда слушал ее только из вежливости. Если бы я тогда знал!... Но теперь уже тещи нет на этом свете, и никто не сможет объяснить мне эту загадку.

— Послушай, а что касается этих откровений... Тебе случайно не показалось, что она делится ими с тобой, преследуя при этом какую-то определенную цель?

— Нет. Во всяком случае, я думаю, что нет. Это произошло случайно, во время одного нашего разговора. Однако я отчетливо помню, что она запретила мне рассказывать об этом Мадлен. Ей было не очень-то приятно сообщать мне, что одна из ее ближайших родственниц была несколько не в своем уме. Именно поэтому она предпочитала, чтобы ее дочь ничего об этом не знала.

— Но ведь все-таки эта Полина Лажерлак покончила с собой по какой-то причине?

— Нет. Похоже, что нет — ведь она была счастлива. За несколько месяцев до этого происшествия у нее родился мальчик; и все полагали, что материнство благотворно скажется на ее состоянии. Но затем внезапно...

— Я пока что не вижу никакой связи между этой историей и твоей женой, — заметил Флавьер.

— Не видишь? — удрученно спросил Жевинь...
Сейчас ты все поймешь. Итак, после смерти своих родителей Мадлен, разумеется, унаследовала от них всевозможные безделушки, украшения, драгоценности, ранее принадлежавшие ее прабабушке и помимо всего прочего — янтарное ожерелье... Так вот: она постоянно рассматривает все эти вещи, касается их... ну, с некоторым чувством... как бы это выразить?.. тоски, что ли? Например, в доме есть автопортрет Полины Лажерлак — она ведь занималась живописью. Ну и Мадлен, как зачарованная, может целыми часами созерцать эту картину. Более того, недавно я застал ее, когда она, поставив эту картину на стол в гостиной, рядом с зеркалом и надев ожерелье, пыталась сделать себе точно такую же прическу, как у прабабушки на портрете... Впрочем, она у нее так и осталась, — закончил Жевинь с заметным смущением, — тяжелый пучок волос на затылке.

— А она похожа на эту Полину?

— Возможно, но сходство весьма отдаленное.

— Я опять повторяю свой вопрос, чего ты, собственно, опасаться?

Вздыхнув, Жевинь снова взял сигарету и принялся рассеянно рассматривать ее.

— Я даже не осмеливаюсь признаться тебе во всех мыслях, возникающих в моей голове... Несомненно лишь одно: Мадлен уже не та, что прежде. Более того: иногда мне кажется, что женщина, живущая рядом со мной, вовсе не Мадлен.

Встав, Флавьер заставил себя рассмеяться:

— Тоже мне, скажешь такое! Ну и кто же она по твоему... Полина Лажерлак?.. Поль, да ты с ума сошел, старик... Может, выпьешь? Что ты будешь — «Порто», «Чинзано» или «Кар-Корс»?

— Немного «Порто».

Флавьер поднялся, направился в столовую за подносом и стаканами.

— Да, забыл спросить тебя. Ты женился? — прокричал ему вдогонку Жевинь.

— Нет, — глухо откликнулся Флавьер. — И не имею ни малейшего желания.

— Я как-то случайно узнал, что ты ушел из полиции, — продолжал Жевинь.

Из гостиной не последовало никакого ответа.

— Может, тебе помочь?

Встав с кресла, Жевинь направился к открытой двери и прислонился плечом к дверной раме: Флавьер откупоривал бутылку.

— А у тебя здесь очень мило... Извини, что надоедаю тебе своими историями, но все же я чертовски рад увидеть тебя вновь. Мне, наверно, следовало бы сперва позвонить тебе и заранее предупредить о своем приходе, но ты же знаешь — я весь в делах...

Распрявившись, Флавьер мягко вытянул пробку; момент напряжения миновал.

— Ты говорил, что являешься владельцем судовой верфей, — начал он, наполняя бокалы.

— Да, в настоящее время мы производим корпуса для катеров. Довольно солидный заказ. Похоже, что в министерстве обороны опасаются нападения с моря.

— Еще бы! Ведь когда-нибудь все же придется покончить с этой «странной войной»*. Скоро уже май... Твое здоровье, Поль!

— И твое, Роже.

Они пили, глядя друг другу в глаза. Будучи маленького роста, Жевинь казался квадратным. Он расположился напротив окна, и падающий дневной свет оттенял его лицо — лицо римского патриция с мясистыми ушами и благородным лбом. И все же Жевинь был человеком не очень-то больших умственных способностей. Чтобы вылепить ему этот обманчивый профиль римского проконсула, хватило всего лишь несколько капель провансальской крови. А после войны этот малый наверняка станет миллионером... Впрочем, разве он, Флавьер, сам не пользовался тем, что все другие сейчас мобилизованы. Пусть он и протестант, однако это, возможно, не является оправданием. Флавьер поставил свой стакан на поднос.

— Я чувствую, что эта история не выходит у меня из головы. Да, у твоей жены никого нет на фронте?

* Странная война — начало позиционной войны Франции и Англии против фашистской Германии, когда боевые действия практически не велись.

— Да так — несколько дальних родственников, с которыми мы никогда не поддерживали отношений. Так что из близких, собственно говоря, никого.

— А как ты с ней познакомился?

— О, это довольно романтическая история. — Подыскивая слова, Жевинь поднял свой стакан и на свету рассматривал его содержимое. Он по-прежнему опасался показаться смешным. Когда-то эти опасения настолько сковывали его, что на устных экзаменах он даже лишился дара речи. И все же он отважился:

— Я встретил ее в Риме, во время одной деловой поездки. Мы проживали в одной и той же гостинице.

— Какой именно?

— В «Континентале».

— А что она делала в Риме?

— Она занималась живописью. Рисует она, как мне кажется, превосходно. Но ты же знаешь — я в живописи немного смыслю...

— Она изучала живопись для того, чтобы потом давать уроки?

— Ну что ты?.. Наоборот, исключительно ради удовольствия. Ей никогда не приходилось зарабатывать себе на жизнь. Ты только представь себе: в восемнадцать лет у нее была уже своя собственная машина. Отец ее был крупным промышленником...

Повернувшись на каблуках, Жевинь вернулся в кабинет. Флавьер отметил его гибкую и уверенную походку. Прежде он ходил как-то неуверенно и неровно. Состояние его жены, несомненно, изменило его в лучшую сторону.

— А она что, по-прежнему занимается живописью?

— Нет. Она постепенно забросила это занятие. У нее на это не хватало времени. Ты же знаешь, наши парижанки так заняты!

— Послушай... а все эти, ну, беспокойства что ли, о которых ты мне рассказывал... они ведь, наверное, вовсе небеспричинны. Припомни: не произошло ли накануне какого-нибудь инцидента?.. Ссоры, например? Или, может быть, какие-то плохие вести? Должно быть, ты уже пытался вспомнить нечто подобное?

— Черт возьми! Конечно же, пытался... Однако так ничего и не вспомнил... Не забывай, что часть недели я провожу в Гавре.

— А эти нарушения или, если хочешь, помутнения сознания происходили во время твоего пребывания в Гавре?

— Нет, я был здесь. Точнее, только что вернулся. Это было в субботу. Мадлен, как обычно, была весела. И лишь вечером она впервые показалась мне странной. Но тогда я как-то даже не придавал этому никакого значения — я ведь и сам в тот день чувствовал себя довольно усталым.

— А до того?

— До того?.. Ну, ее иногда охватывали приступы дурного настроения, но это не было похоже на это странное состояние.

— А ты уверен, что в ту субботу в ее жизни не произошло ничего необычного?

— Абсолютно уверен по одной простой причине: весь тот день мы провели вместе с ней. Я в тот день приехал утром, около десяти часов. Мадлен к этому времени только что встала с постели. Мы поболтали о том, о сем... только ты не будь таким дотошным... Я, разумеется, не помню, о чем мы говорили... Да и почему бы я стал обращать внимание на это? Помню только, что обедали мы дома.

— А где ты живешь?

— Как?! Ты не знаешь, где я живу? Ах, ну да, я ведь никогда не давал о себе знать. Я приобрел дом на авеню Клебер, неподалеку от площади Этуаль. Вот, держи мою визитную карточку.

— Спасибо.

— Пообедав, мы вышли... Помню, у меня в министерстве была назначена одна деловая встреча... Затем мы гуляли возле здания оперы. Ну вот, вроде все. День как день, черт возьми!

— Ну и когда же у нее наступил кризис?

— Сразу же после ужина.

— Ты бы не мог назвать мне точную дату?

— Точную дату? Черт возьми!

Заметив на столе деловой дневник, Жевинь взял его и принялся листать.

— Я помню, что это произошло в конце февраля... Да, я запомнил это благодаря встрече в министерстве. Ну да, ведь суббота как раз приходится на 26 февра-

ля. Да, несомненно, это произошло двадцать шестого февраля.

Флавьер присел на подлокотник кресла рядом с Жевинем.

— А почему тебе пришла в голову мысль обратиться именно ко мне?

Жевинь вновь сжал свои руки. Ему удалось избавиться от всех своих нервных движений, кроме, пожалуй, этого. Очувившись в затруднительном положении, он как бы старался вцепиться в себя.

— Мы с тобой всегда были друзьями, Роже, — пробормотал он... — Я даже помню, что раньше ты увлекался психологией... Ты ведь, наверное, не хочешь, чтобы я обращался за помощью в полицию?

Жевинь уловил мгновенную судорогу, пробежавшую по губам Флавьера, и тут же добавил:

— Я обратился именно к тебе потому, что ты ушел из полиции.

— Да, — сказал Флавьер, устремив взгляд на кожаную обивку кресла, — я ушел из полиции.

Вдруг он резко вскинул голову:

— А ты знаешь, почему я ушел оттуда?

— Нет, но...

— Все равно рано или поздно ты узнаешь об этом... невозможно долго держать в тайне такие вещи... У меня возникли неприятности... Налить тебе еще немного?

— Нет, нет, спасибо.

Наполнив свой бокал, Флавьер сжал его в кулаке.

— Со мной произошла одна преглупая история. В полиции я служил инспектором... Вообще-то я не любил свою работу и теперь открыто могу признаться в этом. Пойти служить в полицию вынудил меня мой отец — сам-то он дослужился до дивизионного комиссара: он и не мыслил для меня иной карьеры, кроме полицейской. Мне нужно было бы отказаться от этого с самого начала. Ведь нельзя же заставлять человека... Короче, получил приказ арестовать одного типа. Особой опасности он не представлял, но ему пришла в голову мысль спрятаться на крыше. На задании со мной был мой сослуживец, неплохой человек, некто Лериш...

Флавьер залпом осушил бокал, и на глазах у него заблестели слезы. Он закашлялся и пожал плечами, чтобы хоть как-то сгладить свою неловкость.

— Вот видишь—стоит мне только вспомнить об этой истории, и я полностью теряю самообладание... Крыша, как назло, оказалась покатой, а снизу еще и доносились сигналы машин, а этот тип, безоружный стоял за дымоходом — оставалось только связать его.. Но я не смог спуститься к нему по крыше.

— У тебя, наверное, закружилась голова? — спросил Жевинь. — Да, да, я помню: с тобой и раньше такое случалось.

— И вот Лериш начал спускаться вместо меня... И упал вниз.

— Да... — посочувствовал Жевинь.

Он опустил глаза; Флавьер по-прежнему сидел склоненный к собеседнику, так и пребывая в неведении касательно его размышлений, а затем вдруг тихо добавил:

— Во всяком случае, я считаю, что тебе следует знать об этом.

— У каждого могут сдать нервы, — произнес тихо Жевинь.

— У каждого! — резко ответил Флавьер.

Какое-то время они сидели молча. Наконец Жевинь поднял руку, изобразив какой-то невразумительный жест:

— Да, жаль, конечно, но ведь твоей вины в этом не было.

Флавьер открыл портсигар:

— Угощайся, старик.

Когда он рассказывал эту историю, то вновь испытал все то же чувство недоверчивого оцепенения — ведь его никто не воспринимал всерьез. Как же дать им услышать крик Лериша? Крик, который длился бесконечно... и который постепенно из-за ужаса падения переходил с низких нот на высокие. Да, быть может, жена Жевиня действительно испытывает какие-то тайные волнения, однако, какое волнение может сравниться с подобными воспоминаниями? Разве она слышит этот крик, который преследует Флавьера даже во сне? Разве пришлось ей пожертвовать чьей-то жизнью ради своей?

— И все же я могу рассчитывать на тебя? — спросил Жевинь.

— А что конкретно ты ожидаешь от меня?

— Я хотел бы, чтобы ты понаблюдал за ней. Для меня особенно важно будет услышать твое личное мнение. Имея возможность поговорить с тобой о ней, я уже и без того испытываю облегчение. Ты ведь поможешь мне, а?

— Ну, разве чтобы хоть как-то тебя успокоить...

— Старина Роже! Да ты даже не представляешь, до какой степени меня это успокоит. Ты свободен сегодня вечером?

— Нет.

— А жаль. Я хотел бы пригласить тебя к себе домой поужинать. Может, завтра?

— Нет. Лучше, чтобы она не знала меня — это упростит мою задачу.

— Правильно, — согласился Жевинь. — Тем не менее, тебе нужно встретиться с ней.

— А ты пойди с ней в театр. Вот тогда я и смогу хорошенько ее рассмотреть, оставаясь при этом незаметным.

— Завтра вечером как раз мы собрались идти в «Марини». Наши места в литерной ложе.

— Хорошо, я буду.

Жевинь взял Флавьера за руку:

— Спасибо... Вот видишь, — я оказался прав: ты человек находчивый. Мне бы и в голову не пришла мысль о театре...

Порывшись во внутреннем кармане пиджака, он в нерешительности вдруг замер.

— Не сердись, старина, но нам нужно уладить еще один вопрос. Понимаешь... Я уже и так благодарен тебе за то, что ты согласился заняться Мадлен.

— Пустяки... — проронил Флавьер. — Времени у меня много.

— Это правда?

Флавьер хлопнул его по плечу.

— Этот случай заинтересовал меня. Так что дело вовсе не в деньгах. Мне кажется, что Мадлен чем-то похожа на меня и что... да... что у меня есть кое-какой шанс раскрыть тайну, скрываемую ею.

— Уверяю тебя, она не скрывает никакой тайны.

— Это мы еще увидим.

Жевинь взял в руки серую шляпу и перчатки.

— Ну, а как твоя контора? Процветает?

— Да-а, — протянул Флавьер, — жаловаться пока не приходится.

— Если я смогу чем-либо помочь тебе, то ты ведь знаешь — сделаю это от чистого сердца. У меня хорошее положение, особенно теперь.

«Тыловик», — подумал Флавьер. Это слово так неожиданно быстро пришло ему в голову, что он даже отвернулся, чтобы избежать взгляда Жевиня.

— Сюда, — сказал он. — Лифт неисправен.

Они вышли на узкую лестничную клетку, и Жевинь подошел к Флавиеру:

— Действуй по своему усмотрению, — прошептал он. — Как только появится что-то интересное — позвони мне в контору, а еще лучше приходи. Моя контора расположена в здании, примыкающем к «Фигаро»... Единственное, о чем я прошу тебя: действуй так, чтобы Мадлен ни о чем не догадалась... Если она узнает, что за ней следят... Одному только господу известно, что тогда произойдет!

— Положись на меня.

— Спасибо.

Спускаясь по лестнице, Жевинь дважды обернулся, чтобы помахать рукой на прощание. Вернувшись в квартиру, Флавьер подошел к окну и посмотрел вниз. Он увидел тронувшуюся с места и вырвавшуюся к перекрестку огромную черную машину... Мадлен... Ему нравилось это несколько печальное имя, и как только она могла выйти замуж за этого толстяка? Срази меня гром, если она не изменяет ему! Да она просто ломает перед ним комедию. Жевинь вполне заслужил эти рога. Особенно этими своими замашками богача, своими сигарами, своими судоверьями, своими административными совещаниями — словом, всем! Флавьер терпеть не мог слишком самоуверенных людей. И, вместе с тем, он отдал бы что угодно за возможность хоть частично обладать их уверенностью.

Захлопнув окно, Флавьер побрел на кухню, пытаясь убедить себя в том, что он голоден. Ну так что же? Он окинул взглядом стоящие в шкафу консервы — он тоже припас провизии, хотя потом счел это глупостью, будучи убежденным, что война продлится недолго. Неожиданно вид такого количества пищи вызвал в нем тошноту. Взяв несколько сухариков и початую бу-



тылку белого вина, он собрался было присесть, однако, найдя кухню уродливой, отправился в кабинет, грызя по дороге сухарь. На ходу он включил радио, хотя и знал заранее, какими будут сообщения: «Усиление патрулирования. Артиллерийские обстрелы с обоих берегов Рейна...» Однако голос диктора заменит ему живое присутствие. Присев, Флавьер выпил немного вина. Итак, в полиции он не преуспел, к воинской службе оказался непригоден... Так на что же он вообще годен?.. Открыв ящик, он достал оттуда папку зеленого цвета и надписал в правом верхнем углу «Досье Жевиня». После чего вложил в досье множество чистых листков и застыл в неподвижности с пустым выражением глаз.

Глава 2

«Вероятно, я выгляжу, как полный идиот», — подумал Флавьер. Он делал вид, что лениво играет своим перламутровым театральным биноклем, желая казаться важным и пресыщенным жизнью, но никак не мог решиться поднести бинокль к глазам, чтобы рассмотреть Мадлен. Повсюду виднелись люди в военной форме; на лицах женщин, шедших в сопровождении офицеров, читалось гордое удовлетворение. Флавьер ненавидел этих женщин, и его ненависть стала распространяться на все, что его окружало: на армию, на войну, на этот слишком роскошный театр, наполненный воинственным и фривольным шумом. Обернувшись, он увидел Жевиня, сидевшего рядом с Мадлен. Она откинулась на спинку кресла, грациозно склонив хорошенькую головку. Флавьер неясно видел черты ее лица. Похоже, она была худенькой брюнеткой. Но все же у него сложилось впечатление, что Мадлен была хорошенькой и несколько хрупкой, возможно, из-за ее слишком тяжелой прически. Каким же образом толстяку Жевиню удалось добиться любви такой элегантной женщины? И как она вообще могла терпеть ухаживания подобного типа?

Занавес поднялся, и спектакль, совершенно не интересовавший Флавьера, начался. Закрыв глаза, он вспомнил, как они с Жевинем, экономя деньги, ютились в одной комнатухе. Тогда они вели себя крайне

скромно, и студентки, подтрунивая над ними, намеренно заигрывали с ними. Их товарищи, напротив, ухаживали за всеми женщинами подряд. Особенно в этом преуспевал один парень по имени Марко, которого нельзя было назвать ни красавцем, ни слишком умным. Однажды Флавьер поинтересовался, как это ему удастся, но Марко в ответ лишь загадочно улыбнулся, а потом добавил: «Говори с ними так, будто ты уже бываешь с ними в постели... Это единственный способ!»

Однако Флавьер никогда бы не осмелился на такое. Не потому, что не умел себя вести нагло, просто он не мог обратиться к девушке на «ты». В бытность его еще молодым инспектором, коллеги часто посмеивались над ним и считали его скрытным. Мало того, они еще и побаивались его. Да, так когда же Жевинь все-таки осмелился вступить в контакт с женщиной? И кто была эта женщина? Быть может, Мадлен? Флавьер называл ее Мадлен так, словно она уже была его союзницей, а Жевинь — их общим врагом. Он пытался представить себе ресторан гостиницы «Континенталь». Он представил себе, что Жевинь ужинает с Мадлен и что бы выбрать вино, подзывает метрдотеля. Но нет, это невозможно! Метрдотель окинул бы его таким особым взглядом... Затем, ведь нужно было бы пройти через весь этот огромный зал... зайти в спальню... увидеть, как раздевается Мадлен... Ну и что здесь такого? Ведь она в конце концов его жена... Открыв глаза, Флавьер заметался, и им овладело сильное желание уйти. Однако он сидел как раз посередине ряда и нужно было обладать смелостью, чтобы решиться побеспокоить столько людей! Вокруг него смеялись, где-то вспыхнули жидкие аплодисменты, очень скоро они переросли в аплодисменты всего зала, которые, побушевав минуту, стихли. Актеры говорили, разумеется, о любви. Что значит быть актером! Флавьер прямо вздрогнул от отвращения. Краем глаза он искал лицо Мадлен. В позолоченном полумраке ложи ее силуэт вырисовывался, словно портрет. На шее и в ушах у нее сверкали драгоценности, а ее глаза, казалось, тоже сияли. Она сидела неподвижно, склонив голову, похожая на тех незнакомок, которыми любят любоваться в музеях. На затылке ее был искусно сложен пучок волос, в котором сверкали отблески красного дерева. Мадам Жевинь...

Флавьер собирался было направить на нее свой бинокль, однако в этот момент его сосед недовольно заерзал. Тогда Флавьер, опустив голову, сунул бинокль в карман, решив уйти из театра во время антракта. Теперь он был уверен, что уже узнает ее где угодно. При мысли о том, что он станет следить за ней, за ее жизнью, он почувствовал небольшое волнение. Просьба Жевиня выглядела несколько двусмысленно. Если бы только Мадлен узнала, что... Впрочем, она вполне имела право завести себе любовника! Однако он уже знал, что будет страдать, окажись она неверна. Вновь раздались аплодисменты, и зал одобрительно загудел. Бросив на Мадлен мимолетный взгляд, Флавьер увидел, что она сидит в той же позе, что и прежде. Сверкающие в ее ушах бриллианты отбрасывали неподвижный отблеск, в уголках ее глаз теплился живой свет; ее длинная, молочно-белого цвета рука лежала на темном бархате, а сама ложа служила ей как бы рамкой из тусклого золота. В уголке этой картины не хватало лишь подписи, и Флавьеру на миг показалось, что он видит там маленькие красные буквы Р. Ф... Роже Флавьер... Однако это слишком уж глупо! Не станет же он в самом деле принимать на веру слова Жевиня!.. Позволит увлечь себя его воображением... Остановившись на мгновение, он подумал, что ему следовало бы стать писателем, поскольку в его голове неожиданно, с драматической силой возникали всяческие рельефные образы. К примеру, та крыша... с ее покатостью, ее сверкающими отблесками и выцветшими красками дымоходов; доносящееся снизу ворчание улицы, напоминающее рокот потока. Он сжал ладони, как это делал Жевинь. Чтобы познать мешающие жизни тайны, он выбрал профессию адвоката. Все эти люди лгут, как и тот Марко, делая вид, что не замечают препятствий. Но кто знает, не ищет ли сейчас в свою очередь и Марко доверенное лицо? На сцене мужчина целовал женщину. И тут ложь! Жевинь тоже целует Мадлен, а ведь она при всем при этом остается чуждой ему. В действительности они все, как и Флавьер, идут, спотыкаясь, по крыше, на краю которой—пропасть. Смеясь и занимаясь любовью, они одновременно испытывают страх. Кем бы они стали, не будь священников, врачей и судейских?!

Занавес опустился, а затем снова поднялся. Висящая под потолком люстра осветила зал резким светом, от которого лица зрителей стали серыми. Чтобы удобнее было аплодировать, публика поднялась со своих мест. Мадлен медленно обмахивалась программкой в то время, как ее муж говорил ей что-то на ухо. Эта картина тоже была знакома: «Женщина с веером»... возможно, она напоминала какую-то картину Полины Лажерлак. Пожалуй, ему лучше выйти. Флавьер влился в разбредаящуюся по коридорам и заполняющую все пространство толпу. На какую-то минуту его задержала остановившаяся у гардероба группа людей. Выбравшись оттуда, он чуть было не столкнулся с Жевинем и его женой. Но лишь проследовал вплотную мимо Мадлен, слегка коснувшись ее, хотя и узнал, что это она, лишь пройдя несколько метров вперед. Он хотел было обернуться, но толпа молодых офицеров, пробираясь к бару, увлекла его за собой. Спустившись на несколько ступенек, он внезапно передумал. Тем хуже ему необходимо было побыть одному...

Он полюбил эти ночи во время войны, эти длинные пустынные авеню, по которым разгуливал нежный, побывавший на лужайках с цветущей магнолией ветерок. Флавьер ступал бесшумно, будто был беженцем. В его памяти без особого труда возник образ Мадлен, ее черные, слегка подсвеченные хной волосы. Он мысленно задержался на ее голубых глазах, таких светлых, что они не в состоянии были выразить какую бы то ни было страсть и казались неживыми. Под выступающими скулами щеки казались впалыми, и эта оттененная впалость таила в себе какую-то томность. Тонкие, слегка подкрашенные губы напоминали губы мечтательной девушки. Мадлен... да, это имя было создано специально для нее. А вот фамилия Жевинь... Она вполне могла носить какое-нибудь имя с бесполезным, однако красивым титулом. Да она просто несчастна, черт возьми. Жевинь же выдумал какую-то дурацкую историю, даже не догадываясь, что его жена погибает от скуки рядом с ним. Она была слишком манерной, слишком утонченной для того, чтобы довольствоваться существованием в кричащей роскоши. Не потеряла ли она любовь к живописи? Флавьера уже занимала мысль не о том...

как бы следить за ней, а о том, как бы уберечь ее и, возможно, даже помочь ей.

«Я совсем сошел с ума, — подумал Флавьер. Еще немного, и я влюблюсь в нее. Мадам Жевинь просто-напросто нуждается в тонизирующем средстве, вот и все!» Недовольный собой и даже несколько оскорбленный, он ускорил шаг.

Возвратившись к себе, он решил, что сообщит Жевинию: непредвиденное дело требует его срочного отъезда в провинцию. С чего это он вдруг станет жертвовать своим спокойствием ради человека, которому, собственно, было глубоко наплевать на него самого?! Ведь если бы Жевинь очень нуждался в его помощи, то мог бы объявиться и несколько раньше. Нет, к черту семейство этих Жевиней!

Он заварил себе ромашку. «Что подумала бы она обо мне, увидев меня? Вероятно, что я старый холостяк, погруженный в свое одиночество!»

Спалось ему плохо, однако, проснувшись, он вспомнил, что ему предстоит наблюдать за Мадлен. Эта мысль обрадовала его, хотя заставила тут же устыдиться этого. И все же радость — настойчивая и беспредельная, словно потерявшаяся собака, которую не решаются прогнать, — не покидала его. Он включил радио. Диктор снова сообщал об артиллерийских обстрелах и патрулировании! Пусть, все эти сообщения не отравляли его чувства радости от предстоящей работы. Его не покидало чувство счастья. Насвистывая, он закончил несколько дел, позавтракал в маленьком ресторанчике, который посещали только завсегдатаи. Его перестала смущать даже его штатская одежда, и он уже не чувствовал на себе подозрительные и враждебные взгляды. Ведь в том, что он освобожден от воинской повинности, его вины нет.

Флавьер не стал дожидаться двух часов и сразу отправился на авеню Клебер. После недели пасмурной погоды на улице было приятно и солнечно, но несмотря на это, авеню была малолюдная. Окинув быстрым взглядом улицу, он заметил стоящую перед солидным домом машину марки «Тальбо», Флавьер не спеша обошел ее. Вот он и на месте. Мадлен живет здесь... Вынув из кармана газету, он стал медленно прохаживаться вдоль нагретых солнцем фасадов. Опустив взгляд

в газету, он краешком глаза внимательно следил за происходящим у интересующего его дома... «Над Эльзасом сбит разведывательный самолет... В Нарвик выслано подкрепление...» Ну что ж, а он сейчас в отпуске, у него назначено свидание с Мадлен, и он располагает временем. Вернувшись на место, откуда он начал свое наблюдение, он заметил выставленные на тротуар три столика — здесь находилось небольшое кафе.

— Кофе, пожалуйста, — заказал Флавьер.

Сев за один из столиков, Флавьер отметил про себя, что отсюда хорошо просматривался весь дом: высокие окна, украшенные под моду начала века, балконы с выставленными на нем цветочными горшками; несколько выше — мансарды и слегка выцветшее голубое небо. Его взгляд снова опустился, и он увидел, как «Тальбо», плавно тронувшись с места, направилась в сторону площади Этуаль — это отправился на работу Жевинь. Значит, вскоре должна появиться и Мадлен...

Залпом допив кофе, Флавьер усмехнулся. В общепто у него нет никаких оснований твердо быть уверенным, что она сейчас выйдет из дома... Но что-то подсказывало ему: обязательно выйдет! У нее не может не возникнуть желания насладиться этим солнцем, этим молчаливым праздником листвы, этими блуждающими в пространстве пушистыми семенами... Наконец, она выйдет просто потому, что он ждет ее...

И вдруг, он даже вздрогнул от неожиданности, он увидел, что по тротуару приближается к нему Мадлен. Отложив газету, Флавьер поспешно перешел на другую сторону улицы. На женщине был серый, очень зауженный в талии костюм, под мышкой у нее была черная сумочка. Остановившись, она стала натягивать на руку перчатку, исподволь осматриваясь вокруг. Легкое прикосновение ветерка волновало пену кружев в отвороте костюмного пиджака, а лоб и глаза скрывала небольшая грациозная вуалька. Флавьер подумал, что эта женщина как бы в полумаске. Он с удовольствием написал бы картину с этого стройного силуэта, очерченного на очень бледном фоне домов в стиле рококо, тонкой линией солнечных лучей. Он тоже когда-то занимался живописью, но, правда, без особого успеха. Кроме того, он достаточно хорошо умел играть на фортепиано, вызывая даже зависть у некоторых профессиона-

лов. Он как раз принадлежал к числу тех людей, которые ненавидят посредственность, однако сами не в состоянии развить в себе талант, то есть множество различных способностей, однако и разочарований не меньше! Впрочем, какое это имеет значение теперь, когда в его жизни появилась Мадлен...

Идя вверх по авеню, она дошла до площади Трокадеро и приблизилась к эспланаде, сияющая белизна которой резала глаза. Никогда еще Париж так сильно не походил на парк, как сейчас. На лужайках, словно хорошо знакомый тотем, возвышалась Эйфелева башня. Сады склонились к Сене, вереницей окружая лестницы, похожие на неподвижные каскады с цветами по бокам. Какой-то буксир, проплывая по Сене, издал заглохший под арками хриплый зов-гудок. В этом неестественном состоянии между войной и миром все чувствовали себя плохо от простого и вместе с тем мучительного волнения. Не потому ли Мадлен идет сейчас такой усталой походкой? Она, казалось, была занята какими-то мучительными вопросами и пребывала в состоянии неуверенности. Вот она остановилась у входа в музей, снова пошла вперед, словно ее несло по какому-то невидимому течению. Перейдя улицу, она какое-то время блуждала среди прогуливающих по авеню Анри Мартен людей, но, наконец, решившись, направилась к кладбищу Пасси.

Мадлен медленно бродила среди могил, и Флавьер уже готов был поклясться, что здесь она просто продолжала свою прогулку. Оставив позади торжественный ряд крестов, мраморных и бронзовых изваяний, она сразу же покинула центральную аллею. Идя по наиболее скрытым от людских глаз уголкам кладбища, она смотрела то налево, то направо, разглядывая почерневшие надписи надгробий, ржавые ограды и лежащие кое-где букеты увядших цветов. Вокруг прыгали воробьи, а шумы города доносились сюда уже откуда-то издалека. Создавалось впечатление, что ты находишься в каком-то странном царстве, вне сиюминутного течения жизни, будто внезапно изменил место своего существования. Вокруг не было ни души, однако каждый крест заменял собой кого-то, а каждая эпитафия заставляла представить какое-то лицо. Мадлен медленно шла среди этой окаменелой толпы, и ее тень ложилась рядом

с теньями крестов; она шла, спотыкаясь о ступени склепов, внутри которых стояли на страже полуразрушенные ангелочки. Время от времени она останавливалась и читала чье-либо полустертое временем имя: «Семья Мерсье»... «Альфонс Меркадье. Он был хорошим отцом и супругом». Многие камни покосились, словно потерпевшие крушение суда. На них грелись ящерицы с пульсирующими шеями и обернутыми к солнцу змеинными головками. Мадлен, похоже, нравились эти уединенные места. Она не спеша продолжала свой путь, постепенно смещаясь к центру кладбища, вот она неожиданно наклонилась и подняла выпавший из чьей-то сумки тюльпан, а затем подошла и остановилась перед чьей-то могилой. Спрятавшийся за каким-то склепом Флавьер хорошо видел ее. Лицо Мадлен не выражало ни экзальтации, ни растерянности. Напротив, оно казалось отдохнувшим, спокойным и счастливым. О чем же она думает? Мадлен стояла, опустив руки и по-прежнему сжимая в пальцах цветок. Она вновь походила на чей-то портрет, на одну из тех женщин, кого сумел увековечить гений художника. Застыв в каком-то внутреннем созерцании, она полностью погрузилась в себя. В голове Флавьера вспыхнуло слово «экстаз». Не тот ли это кризис, о котором ему рассказывал Жевинь? Быть может, Мадлен подвержена мистическому бреду? Однако при этом присутствуют весьма характерные симптомы, не позволяющие ошибиться в диагнозе. Должно быть, Мадлен просто молится за какого-нибудь недавно усопшего родственника. Но могила выглядела старой и давно заброшенной...

Посмотрев на часы, Флавьер отметил, что Мадлен простояла у могилы ровно двенадцать минут. Теперь она снова вышла на центральную аллею, рассматривая с тем же, хотя уже несколько пресыщенным видом надгробия, как будто бы в области кладбищенской архитектуры и скульптуры для нее не существовало ничего нового. Флавьер на ходу бросил взгляд на могилу, у которой стояла Мадлен:

ПОЛИНА ЛАЖЕРЛАК

1840—1865 гг.

Хотя внутренне Флавьер был готов увидеть именно эту надгробную надпись, он все же почувствовал себя

потрясенным до глубины души, но, взяв себя в руки, продолжил наблюдение. Жевинь был прав: в поведении Мадлен есть нечто такое, что не поддается пониманию. Он вспомнил, как она стояла у могилы — даже не выразив своего состояния ни руками, ни наклоном головы, а совершенно неподвижно, как стоят обычно в местах, связанных с воспоминаниями, например, перед родительским домом. Однако он тут же отверг эту абсурдную мысль, вселяющую в него смутный ужас, и приблизился к Мадлен, которая так и держала в руках тюльпан. Несколько ссутулившись, усталой походкой она спускалась к Сене.

Дойдя прогулочным шагом до набережной, Мадлен направилась вдоль реки, глядя на воду, переливающуюся бликами солнца. Было довольно жарко, и прохожие, держа шляпы в руках, то и дело утирали пот с лица. Сена спокойно и уверенно несла свои воды между каменными набережными. На берегу спали клошары, а первые стрижи, уже заливаясь щебетом, неистово кружили вокруг мостов. В строгом сером костюме и в туфлях на высоких каблуках Мадлен воспринималась совершенно вне всего этого праздника, словно путешественница, грустно ожидающая прихода своего поезда. Время от времени она теребила пальцами стебелек найденного на кладбище тюльпана. Перейдя по мосту на другую сторону Сены, она облокотилась о парапет и стала легкими движениями прикасаться стебельком к щеке. Может быть, она назначила кому-нибудь свидание здесь?.. Или просто остановилась отдохнуть?.. А может, просто наблюдала за игрой волн возле лодок и переливами отблесков на водной глади?.. Должно быть, очень далеко, внизу, как в зеркале, она видела в воде свое отражение вместе с солнечными бликами и длинной тенью гнutoго моста. Флавьер, сам не зная почему, подошел ближе, но Мадлен стояла неподвижно. Затем она бросила в воду тюльпан, и маленькая красная точка начала медленно удаляться, вращаясь вокруг своей оси и покачиваясь на волнах. Пройдя вдоль баржи, Мадлен спустилась к реке. Флавьера неожиданно заинтересовала судьба этого жалкого цветка, который превратился в ярко-красную точку, однако оторвать от нее глаз он был не в силах. Подхваченный течением, цветок поплыл быстрее, затерялся среди

волн, а затем и вовсе исчез. Но Мадлен, бессильно опустив руки, все еще всматривалась в блестящую гладь воды. Флавьеру показалось, что она улыбается; вдруг выпрямившись, она снова направилась на противоположный берег Сены, но уже по другому мосту. Домой она возвращалась с тем же выражением беспечности и безразличия к происходящему вокруг, с каким вышла из дома. В половине пятого Мадлен переступила порог своего дома, и Флавьер, осознавая свою ненужность и испытывая чувство глубокого отвращения к самому себе, ощутил некоторую растерянность. Итак, чем же ему заняться вечером? Это наблюдение поселило в нем какое-то щемящее чувство, сделав его одиночество еще более невыносимым. Зайдя в небольшое кафе, он набрал номер телефона:

— Алло!.. Это ты, Поль?.. Это Роже... Я могу заскочить к тебе на минутку?.. Нет, нет, ничего не сорвалось... Просто хочу задать тебе несколько вопросов... Хорошо, иду.

— Вы бы не могли, месье, немного подождать? Месье директор проводит совещание.

Секретарь-машинистка ввела Флавьера в обставленную массивной мебелью приемную. «Не пытается ли он пустить мне пыль в глаза?» — подумал Флавьер, но тут же увидел, как Жевинь выпроваживал своих посетителей.

— Очень рад тебя видеть, — бросился к нему Жевинь, — сегодня мы совсем сбились с ног.

Кабинет Жевиня оказался большим, светлым и обставленным на американский манер — стол с металлическими папками, кресла со стальными ножками, пепельницы на никелированных подставках. А на стене — огромная карта Европы с приколотой булавкой красной полосой, обозначающей линию фронта.

— Ну что? Ты видел ее?

Присев, Флавьер закурил.

— Да.

— И что она делала сегодня?

— Ходила на кладбище Пасси.

— Как?! На могилу к...

— Да.

— Вот видишь, — сказал Жевинь, — вот видишь!

Возле телефона, в углу стояла фотография Мадлен, и Флавьер не мог оторвать от нее глаз.

— На могиле нет ничего, кроме простого указания имени и дат жизни и смерти. Но ведь родственники твоей жены тоже, вероятно...

— Да нет! Все ее родственники похоронены в Арденах, а склеп моей семьи находится в Сент-Уэне... Одна лишь Полина Лажерлак похоронена на кладбище Пасси. Это совершенно ужасно! А как ты объяснишь этот визит? Что же обозначает это странное паломничество?.. Уверяю тебя, она далеко не первый раз ходила туда!..

— Да, она действительно не наводила у служителей кладбища никаких справок, сама прекрасно сориентировалась и нашла могилу.

— Черт возьми!.. Говорю же тебе, что Мадлен будто околдована образом этой Полины...

Засунув руки в карманы, Жевинь принялся расхаживать вдоль своего стола. Его толстая шея неестественно выглядывала из ворота рубашки. Зазвонил телефон, и он резким движением поднял трубку, а затем, похлопывая ею по ладони, прошептал:

— Она, наверное, воображает себя этой Полиной! Ты представляешь? Да о каком спокойствии для меня вообще может идти речь!

Из трубки доносился чей-то приглушенный голос, и Жевень, поднеся ее к уху, произнес властным голосом:

— Алло! Я слушаю... А-а, это вы, мой дорогой!

Флавьер смотрел на фотографию Мадлен, на ее слегка оживляемое глазами лицо статуэтки. Продиктовав с гневно сдвинутыми бровями свои распоряжения, Жевинь швырнул трубку. Теперь Флавьер уже пожалел, что пришел сюда. Он вдруг почувствовал, что своим вмешательством Жевинь лишь внесет в ее жизнь полный хаос. И та же страшная мысль опять терзала его: а что, если душа Полины?..

— Как они мне все осточертели! — жаловался тем временем Жевинь. — Ты даже себе не представляешь, старина, какая здесь творится неразбериха!

— Лажерлак — это что, девичья фамилия твоей жены? — спросил Флавьер.

— Нет, ее фамилия была Живор... Мадлен Живор.

Родителей своих она потеряла три года назад. Ее отец владел заводом по производству бумаги под Мезвером. Это довольно крупное предприятие!.. Его основал еще их дед... Он, кстати, уроженец этих мест.

— Но ведь... Полина Лажерлак жила в Париже?

— Погоди.

Своими сплетенными пальцами Жевинь прошелся по бювару.

— Все это очень проблематично... видишь ли... однажды моя теща показала мне дом своей бабушки Полины — старое здание на улице Сен-Пер. На первом этаже, кажется, расположена какая-то лавка, по-моему, антикварная... Ну, так что ты думаешь о Мадлен? Разумеется, после того, как ты увидел ее?

Флавьер пожал плечами:

— Пока еще ничего.

— Однако ты согласен, что с ней творится что-то непонятное?

— Полагаю, что да... Ты не знаешь, она полностью забросила живопись?

— Да, полностью...

— А почему она забросила живопись?

— Понимаешь ли... у нее довольно непостоянный характер. Да и потом со временем все люди меняются.

Встав, Флавьер протянул Жевиню руку.

— Ну, не буду тебе мешать работать, старина. Я вижу, ты очень занят.

— Ничего, — прервал его Жевинь, — это все не имеет никакого значения... Лишь бы с Мадлен было все в порядке. Скажи мне откровенно... Как, по-твоему, она ненормальная или же?..

— То, что она не сумасшедшая, я ручаюсь, — ответил Флавьер. — Да, хотел спросить: она много читает? Ты не замечал за ней какой-нибудь навязчивой идеи?

— Да нет, читает она немного, как и все — в основном нашумевшие книги, иллюстрированные журналы... Что же касается навязчивой идеи, то я, право, ничего подобного за ней не замечал.

— Я продолжу свои наблюдения за твоей супругой, — сказал Флавьер.

— Что-то я не замечаю в тебе особого энтузиазма.

— У меня складывается впечатление, что мы попусту тратим время.

Не мог же он признаться Жевиню, что решил ходить за Мадлен целыми неделями и даже месяцами и что он не обретет покоя до тех пор, пока не проникнет в ее тайну.

— Ты сам видишь, что у меня за жизнь: работа да поездки и ни одной свободной минуты, я очень прошу тебя — займись ею. Только в этом случае я буду чувствовать себя гораздо спокойнее.

Он проводил Флавьера до самого лифта.

— Позвони, если удастся узнать что-нибудь новое.

— Хорошо.

Флавьер вышел и очутился в потоке служащих, покинувших свои учреждения после рабочего дня. Купив вечернюю газету, он прочел, что на границе с Люксембургом сбиты два самолета. В передовице утверждалось, что немцы несомненно проигрывают эту войну, что они заблокированы и готовы задохнуться, поскольку скованы в действиях. Высшее командование все предусмотрело и ожидало лишь отчаянной вылазки врага, дабы раз и навсегда покончить с ним.

Зевнув, Флавьер сунул газету в карман. Эта война перестала его интересовать. Теперь для него существовала лишь одна Мадлен. Сев на террасе кафе, он заказал содовую. В его воображении предстала Мадлен, задумавшаяся над могилой Полины Лажерлак... ее тоска по могиле... Нет! Это невозможно!.. Впрочем, кто знает, что возможно, а что нет?!

Домой Флавьер вернулся с сильной головной болью. Раскрыв энциклопедический справочник, на букву «Л», он разумеется, ничего там не обнаружил. Да он заранее знал, что фамилии Лажерлак там не могло быть, однако не смог бы заснуть, не проверяя, на всякий случай, этот факт. Он догадывался, что совершит еще множество абсурдных поступков просто так, на «всякий случай». Как только он начинал думать о Мадлен, то терял все свое хладнокровие. Женщина с тюльпаном! Он попытался нарисовать себе склоненный силуэт на фоне реки. Затем усилием воли отогнал от себя все видения, проглотил две таблетки снотворного и лег спать.

Мадлен прошла вдоль Палаты Депутатов, перед которой прохаживался часовой с винтовкой. Как и накануне, она вышла из дома сразу же после ухода Жевиня. Однако на сей раз она шла быстро, и Флавьер вплотную следовал за ней, интуитивно опасаясь несчастного случая, поскольку Мадлен переходила улицу, не обращая никакого внимания на машины. Куда это она так торопится? Свой серый костюм она сменила на коричневый очень простого покроя, а на голове у нее был берет. Туфли без каблуков совершенно изменили ее походку. Теперь она казалась еще моложе, и в ней появилось что-то мальчишеское. Мадлен пошла по бульвару Сен-Жермен, стараясь держаться в тени, которую отбрасывали здания. Возможно, она направляется в Люксембургский сад? Или же в Географический зал?.. На сеанс оккультизма?.. Внезапно Флавьер все понял. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, он подошел поближе. До него донесся аромат ее духов, напоминающий запах увядшего букета, запах земли... Он уже где-то вдыхал подобный запах, но где?.. И Флавьер вспомнил, что это было накануне, в пустынных аллеях кладбища Пасси. Его волновал этот запах, напомнивший дом его бабушки, стоящий под Сомюром, на склоне холма. Людские жилища там были будто высечены в скале. Люди поднимались к ним по лесенкам, словно Робинзоны. Из отвесной скалы то там, то тут торчали печные трубы, а над каждой из них тянулся по скале черный след от дыма, пачкавшего белые камни. Он приезжал туда во время каникул, чтобы побродить, заглянуть мельком в эти странные жилища, в которых видна была мебель. Что это было? Дома? Карьер? Толком этого никто не знал. Однажды он вошел в одно из таких гнезд, покинутое владельцами. Жилище едва освещалось дневным светом. Стены были холодными и шероховатыми, словно края ямы, а тишина, царившая там, навевала ужас. По ночам здесь, вероятно, слышно, как крот роется в земле, а с потолка, возможно, время от времени сваливались, скручиваясь, черви. Видневшаяся в глубине расшатанная дверь вела в отдающий затхлостью подвал. А там, вероятно, открывался целый мир галерей, коридоров и бесконечного числа проходов в самое сердце скалы. Страх появлялся там, где взду-

вались серые грибы. И со всех сторон пахло... пахло землей... или духами Мадлен. Здесь, на залитом солнцем бульваре, где молодая листва трепетала, словно в тени протянутых рук, Флавьер снова ощутил привлекательность сумерек и понял, почему Мадлен сразу привела его в волнение. В его памяти возникли другие образы, но особенно отчетливо один: когда ему было двенадцать лет, он, сидя в тени той стены, откуда виднелись зеленые луга, виноградники и облака — и все это убегало куда-то в звонкую даль, смешивалось и обгоняло друг друга — читал незабываемую книгу Киплинга «Свет погас». Напечатанная на первой странице гравюра изображала девчужку и мальчугана, склонившихся над револьвером. Ему припомнилась абсурдная, но всегда волновавшая его до слез фраза: «По дороге, ведущей в Южную Африку, ехал ле Барралонг...» Теперь он был уверен в том, что одетая во все черное девочка была похожа на Мадлен, та самая девочка, о которой он мечтал по вечерам, перед тем, как заснуть, которая грезилась ему во сне. Да, все это, конечно, выглядит смешно, особенно для такого человека, как Жевинь. Однако все это было похоже на правду, по-своему, словно вновь обретенный тяжкий, как таинственная очевидность, однажды уже забытый сон. Впереди него шла изящная, в грезе теней, пахнущая хризантемами Мадлен. Когда она свернула на улицу Сен-Пер, Флавьер испытал чувство глубокого удовлетворения. Это, конечно, еще ничего не значило...

На этой улице находился дом, о котором ему говорил Жевинь. Это, вне всяких сомнений, именно тот дом, раз Мадлен входит в него. Да кроме того, на первом этаже расположена антикварная лавка. Лишь в одном Жевинь ошибся: в этом доме размещалась гостиница «Фэмилли Отель», в которой насчитывалось не менее двадцати комнат, и была она одной из тех небольших уютных гостиниц, в которых так любят останавливаться провинциальные маньяки, преподаватели и судьи. На двери висела табличка: «свободных мест нет». Флавьер открыл дверь и сидящая за стойкой женщина с вязанием посмотрела на него поверх очков.

— Нет, нет, — пробормотал Флавьер, — мне не нужна комната... меня интересует имя той дамы, которая только что вошла сюда.



— А сами вы кто?

Флавьер сунул под свет лампы свое старое инспекторское удостоверение, сохраненное им, как и многие другие вроде бы совершенно ненужные вещи: старые трубки, исписанные ручки, просроченные счета... Его бумажник был полон всевозможных пожелтевших писем, почтовых чеков и корешков от ордеров.

Флавьер мысленно похвалил себя за то, что хоть раз в жизни наследие прошлого пригодилось ему. Старуха смотрела на него все так же косо.

— Мадлен Жевинь, — произнесла она наконец.

— Но вы ведь не впервые видите ее здесь?

— Конечно нет! — воскликнула старуха. — Мадам приходит сюда довольно часто.

— А не принимает ли она кого-нибудь в своем номере?

— Это женщина честных правил, — ответила старуха и хитро улыбнулась.

— Ответьте, пожалуйста, — настаивал Флавьер. — Не принимает ли она посетителей?.. Ну, скажем, какую-нибудь подругу?

— Нет, она никогда никого здесь не принимала.

— А чем же она здесь занимается?

— Этого я не знаю... Я не имею привычки следить за своими постояльцами.

— А какую комнату занимает она?

— Комнату номер девятнадцать, на четвертом этаже.

— Это хорошая комната?

— Вполне приличная, хотя у нас имеются и лучше, но ее устраивает эта. Поначалу я предложила ей двенадцатую... Но она настояла на девятнадцатой — ей непременно хотелось, чтобы комната располагалась на четвертом этаже, а окна выходили во двор.

— А она не объяснила этого своего желания?

— Нет. Возможно, из-за солнца.

— Если я правильно понял, она сняла у вас комнату?

— Да. Она сняла ее на месяц вперед.

— И как давно?

Оставив вязание, старуха заглянула в регистрационный журнал.

— Черт возьми! — проворчала она. — Ага, вот. Уже более трех недель тому назад, в начале апреля...
— А долго ли она обычно бывает там, наверху?
— По-разному. Когда час, а когда и больше...
— А вещей она с собой никаких не приносит?
— Нет, не приносит.
— И как часто она приходит?
— Раз в два-три дня.
— А вы никогда не замечали за ней никаких странностей?

Подняв очки на лоб, старуха медленно потеряла свои морщинистые веки.

— У каждого из нас есть свои странности, — ответила она... — Вот если бы вы всю жизнь провели за гостиничной стойкой, то уже не задавали подобных вопросов.

— А она когда-нибудь пользуется телефоном?

— Нет.

— А как давно существует эта гостиница?

Морщинистые веки снова приподнялись, и на Флавьера посмотрели глаза со мстительным выражением.

— Лет пятьдесят.

— А раньше... до этого, что здесь было?

— Что здесь было? Я думаю, здесь был обычный дом.

— Не приходилось ли вам когда-нибудь слышать о некой Полине Лажерлак?

— Нет. Но если эта женщина останавливалась у нас в гостинице, я могу поискать в записях...

— Не стоит беспокоиться...

Они снова обменялись взглядами.

— Благодарю вас, — сказал Флавьер.

— Не за что, — ответила старуха.

Спицы снова стали мерно позвякивать в ее руках, а он все еще стоял, вертя в руках зажигалку. «Я совсем потерял нюх, — думал он, — я уже совершенно разучился вести расследование...» У него возникло желание подняться наверх и посмотреть в замочную скважину, однако, зная заранее, что он ничего там не увидит, Флавьер распрощался и вышел.

Зачем понадобилась ей комната именно на четвертом этаже и непременно с окнами, выходящими во двор? Вне всяких сомнений, эта комната ранее принадлежала

Полине! Однако Мадлен не могла знать об этой детали, равно как не могла она знать и о самоубийстве.. Но тогда?.. Какая мистика привела ее в гостиницу? Флавьер находил этому несколько объяснений: внушение, ясновидение, помутнение рассудка, однако не мог остановиться ни на одном из них. Ведь Мадлен всегда была человеком нормальным, уравновешенным. Да к тому же ее обследовали разные специалисты-медики.. Нет, здесь что-то другое.

Вернувшись к гостинице, Флавьер чуть было не побежал, увидев, что Мадлен, не проведя в своей комнате и получаса, все так же поспешно направляется к набережной. Пройдя мимо вокзала Орсей, она остановила такси. Флавьер, в свою очередь, едва успел остановить и вскочить в другую машину.

— Следуйте за тем «Рено»! — скомандовал он.

Ему следовало бы взять свою машину — ведь только что Мадлен чуть было не ускользнула от него... А если бы она обернулась. Однако на мосту Конкорд движение было интенсивным, а Елисейские поля были так забиты, как в горячие часы довоенных лет. Такси Мадлен поднималось к площади Этуаль. «Да она просто-напросто возвращается к себе домой», — мелькнуло в голове Флавьера. Повсюду ходили люди в военной форме, шныряли лимузины с флажками, словно это был праздник 14 июля. В конце концов это начинало вызывать какую-то лихорадочность. Флавьеру нравилось это чувство бурлящей жизни и смутное предчувствие опасности. Объехав вокруг Триумфальной Арки, «Рено», в котором ехала Мадлен, направилось к воротам Майо. Впереди была видна прямая линия залитого солнечной пылью авеню Нейи... Здесь машин было уже меньше, следовали они неторопливо.

— Похоже, что теперь бензин ограничат даже для такси, — жаловался шофер.

Флавьер подумал, что благодаря связям, он получит столько талонов, сколько захочет. Он тут же разозлился на себя за подобную мысль. А впрочем, что здесь такого? Десятью литрами больше, десятью меньше — это при такой-то нехватке горючего!

— Остановите здесь, — попросил он.

Мадлен сошла в конце моста Нейи. Флавьер уже заранее подготовил бумажки и мелочь, чтобы не терять

времени при расчете, и был удивлен, что Мадлен удалялась от него тем же неторопливым, беспечным шагом, что и накануне. Она совершенно бесцельно, просто ради своего удовольствия шла вдоль Сены. Между гостиницей, в которой она только что побывала, и набережной Курбеуа не существовало никакой видимой связи. К чему же тогда эта прогулка? Ведь в Париже набережные намного красивее! Быть может, она избегает людей? Быть может, ей необходимо подумать или помечтать, глядя на медленное течение воды? Ему вспомнились маленькие островки на Луаре, песчаные косы, ивняк, из которого доносились рулады лягушек. Он почувствовал духовную близость с Мадлен до такой степени, что ему даже захотелось подойти поближе и обратиться к ней. Им даже говорить не нужно было бы. Они просто шли бы рядом, глядя, как мимо проплывают баржи. Ну вот, он уже, похоже, начал бредить. Флавьер намеренно остановился, дав Мадлен возможность отойти подальше. Он даже подумал, а не вернуться ли ему обратно? Однако в этой слезке чувствовалось нечто опьяняющее, подозрительное, целиком захватывающее его воображение. И он пошел дальше...

Песок, камни и опять песок... то здесь, то там деревенская пристань, подъемный кран, стоящие на узкоколейке вагонетки, а напротив в серых тонах вырисовывается остров Гранд-Жатт. Зачем же она приехала в этот неприветливый, неудобный пригород? Куда она заведет его? Они были здесь совершенно одни. Она шла, не оборачиваясь, по-прежнему глядя на реку. Через некоторое время Флавьером стал овладевать смутный страх. Нет, это не просто прогулка... Что же тогда? Бегство? Амнезический кризис? Ему и прежде приходилось видеть людей, утративших память. Их находили вдоль дорог в изнеможении. Они были удивлены и говорили голосом лунатиков. В это время Мадлен, перейдя дорогу, уселась на террасе небольшого кафе для речников: под вылинявшим тентом стояло несколько железных столиков. Укрывшись за бочками, Флавьер не упускал из виду ни одного ее жеста. Вынув из сумочки листок бумаги и ручку, она сперва протерла рукой стол. Хозяина бистро не было видно. Мадлен принялась старательно, с несколько страдальческим выражением лица писать что-то. «Точно! Она влюблена в кого-то, —

подумал Флавьер, — и этот кто-то мобилизован». Однако, поразмыслив, он отбросил и эту гипотезу. Зачем ей понадобилось бы ехать сюда, тогда как написать письмо куда удобнее было бы дома, где за ней никто не следил? Писала она быстро, размашисто и не отрывая ручки от бумаги. Свое послание она, несомненно, продумала уже по дороге или же в гостинице. Все это выглядело по крайней мере странным. А может быть, это письмо о разрыве отношений?.. Тогда эти хождения еще как-то можно было бы объяснить... Однако зачем же тогда она ходила на могилу Полины Лажерлак?

Обслуживать Мадлен никто не спешил. Должно быть, хозяин кафе, как и все, призван в армию. Сложив листок и положив его в конверт, Мадлен тщательно запечатала его. Оглянувшись вокруг, она хлопнула в ладоши, однако в доме не колыхнулась даже занавеска. Тогда, держа письмо в руках, Мадлен встала. Собралась ли она возвращаться? Она так и стояла в нерешительности, а Флавьер готов бы отдать что угодно, лишь бы получить возможность прочесть адрес на конверте. Пребывая по-прежнему в нерешительности, Мадлен спустилась к реке, пройдя совсем рядом с бочками, за которыми прятался Флавьер, и он снова почувствовал аромат ее духов, а поднявшийся теплый ветерок слегка шевелил ее одежду. В профиль лицо ее оставалось непроницаемым, ничего не выражающим, разве что скуку. Слегка наклонив голову, она повертела в руках конверт, а затем неожиданно разорвала его надвое, вчетверо, а затем на множество мелких клочков, которые пустила по ветру, и они полетели, кружась над камнями, бежали по поверхности воды прежде чем остановиться и погрузиться в волны. А она, стоя на берегу, наблюдала за ними, терла друг о друга пальцы, словно желая стереть с них невидимую пыль, очистить от неприятного соприкосновения. Носком туфли она извлекла несколько застрявших в траве клочков бумаги и сбросила их в реку. Они тут же исчезли в воде. Затем Мадлен спокойно ступила вперед.

— Мадлен!

Стоя за бочками, он смотрел, не понимая, что происходит. Перед ним не осталось ничего, кроме крошечного клочка белого конверта, который скользил по гравию, словно ученица балетной школы.

— Мадлен!



Сорвав с себя на ходу пиджак и жилет, Флавьер нырнул к воде, которая расходилась кругами, — и вынырнул. От холода у него сдавило грудь. Вместе с тем все внутри у него кричало, звало, словно в каком-то бреду: «Мадлен!.. Мадлен!..» Вытянув руки, он наощупь касался этого липкого мрака. Оттолкнувшись, он шумно вынырнул на поверхность, высоко, почти до пояса и заметил ее в нескольких метрах, лежащую на спине. Она выглядела слабой и отяжелевшей, словно утопленница. Флавьер поднырнул, чтобы подхватить ее за талию, однако почувствовал, как его относит течение, как струится вода сквозь пальцы, словно водоросли. Тогда он поплыл, помогая ногами и борясь с течением, затем вдохнул воздух, обернулся и сквозь воду и мрак разглядел медленно погружающуюся темную массу. Одним рывком он поднырнул к ней, зацепился за одежду и быстро пробежал пальцами по телу, ища шею. Зажав голову под мышкой, он выбросил на поверхность другую руку как бы для того, чтобы побыстрее всплыть. Тело оказалось тяжелым, кроме того, его необходимо было как бы вырвать из ямы, выдернуть с корнями из воды. Невдалеке он увидел быстро приближающийся берег, однако силы его иссякли, дышал он с трудом, ему не хватало тренированности. Вдохнув побольше воздуха, он решил пересечь течение по диагонали, направляясь к лестнице, возле которой на якоре покачивалась лодка. Плечо его ударилось о якорную цепь, за которую он тут же ухватился и по которой добрался до берега. Под ногами он ощутил затопленные ступеньки. Отпустив цепь, Флавьер ухватился за камень, встал на одну ступеньку, затем на другую, держа тело Мадлен. Положив Мадлен на ступеньку, он подхватил ее уже более удобно и на одном дыхании донес до самого берега. И лишь после этого, опустившись на колени, совершенно обессиленный, повернулся на бок. Ветер приятно охлаждал его лицо. Мадлен подала признаки жизни, и тогда он, присев на корточки, внимательно посмотрел на нее. Выглядела она жалко: к щекам прилипли волосы, а кожа стала мраморного цвета. И лишь широко раскрытые глаза задумчиво устремлены к небу, как бы желая разгадать какую-то загадку.

— Вы не мертвы, — произнес Флавьер.

Глаза Мадлен медленно обратились в его сторону, однако взгляд ее блуждал где-то очень далеко.

— Я не знаю, — прошептала она. — Умирать вовек не больно.

— Идиотка! — прокричал Флавьер. — А ну-ка придите в себя!

Подхватив ее под руки, он приподнял женщину, однако голова Мадлен бессильно упала ему на плечо. Он понес ее к находящемуся совсем рядом бистро. Тем не менее, когда он дошел до двери, ноги его дрожали.

— Эй!.. Есть тут кто-то?

Флавьер поставил Мадлен перед стойкой, а она шаталась, и зубы ее выбивали дрожь.

— Эй!

— Иду! Иду! — ответил чей-то голос, и к ним вышла женщина с ребенком на руках.

— С нами произошел несчастный случай, — объяснил Флавьер... — Не могли бы вы одолжить нам что-нибудь из старой одежды, все равно что. А то мы совершенно промокли.

Чтобы внушить женщине доверие, он рассмеялся, но смех его прозвучал нервно. Малыш заплакал, и мать принялась ритмично укачивать его.

— У него режутся зубы, — объяснила она.

— Нам бы во что-нибудь переодеться, — настаивал Флавьер... — Я закажу такси... А потом схожу за своим пиджаком... Там остался мой бумажник. Приготовьте пока для мадам рюмку коньяка... или что-нибудь покрепче!

Он изо всех сил старался создать теплую приятную обстановку, чтобы заставить Мадлен проникнуться к нему доверием и вызвать у женщины сочувствие к ним обоим. Сам же чувствовал себя радостным, энергичным, волевым...

— Сядьте, — крикнул он Мадлен.

Пробежав по пустынной набережной до груды бочек, Флавьер поднял свой пиджак и жилет. Купание в такую погоду особой опасности не представляло, однако, чтобы заболеть, много не нужно... Он до сих пор не мог прийти в себя, но не от приложенных им усилий и испытанного страха, а от воспоминания, как Мадлен спокойно переступает край набережной... А затем, вместо того, чтобы барахтаться в воде, она тут же, с какой-

то ужасающей решительностью полностью забылась. Она даже не стала обращаться за помощью, и ее не испугала наступающая смерть. Флавьер мысленно поклонился, что отныне не упустит ее из поля зрения ни на секунду и станет оберегать от нее же самой, так как теперь он убедился в том, что она не совсем нормальна. Чтобы хоть немного согреться, возвращался он бегом. Женщина с ребенком на руках разливала коньяк по рюмкам.

— Где мадам?

— Здесь, рядом... Переодевается.

— А где у вас телефон?.. Я хочу заказать такси.

— Вот, — указала она подбородком в сторону стоящего на краешке бара аппарата.

— Я нашла для вас лишь комбинезон, не знаю, подойдет ли он вам...

— Вполне, — ответил он.

В это мгновение появилась Мадлен, и он испытал очередное потрясение. Одетая в простое платье из набивного ситца, без чулок, в домашних тапочках, она стала уже совсем другой Мадлен, не вызывающая никаких сложных и противоречивых чувств.

— Идите быстрее переоденьтесь, — сказала она... — Право же, мне очень неловко... В следующий раз я буду внимательнее...

— Надеюсь, что следующего раза не будет, — буркнул Флавьер.

Он ожидал благодарностей, чего-то такого в патетическом стиле, а она, оказывается, попыталась отшутиться. В бешенстве он принялся натягивать на себя слишком большой для него комбинезон. Кроме всего прочего, он еще будет выглядеть смешным. Сидя в зале кафе, обе женщины перешептывались, сразу же подружившись. Он уже безо всякого энтузиазма безуспешно пытался обнаружить концы рукавов и с досадой отметил, что весь комбинезон измазан смазкой. Его гнев обратился против Жевиня. Ну уж он ему заплатит! А потом пусть за его женой наблюдает кто-нибудь другой, если ему этого так уж хочется. Вдруг Флавьер услышал сигнал такси. Неуклюжий и покрасневший, он толкнул дверь.

— Вы готовы?

Мадлен держала на руках ребенка.

— Не так громко, — прошептала она, — а то вы его разбудите.

Она нежно протянула ребенка матери, и это сострадание взбесило Флавьера...

Он чуть было не вышел из себя и едва не дал волю своим чувствам, но все же, подобрав свою мокрую одежду, лишь сунул банкноту под нетронутую рюмку с коньяком и вышел. Мадлен бегом догнала его и села в машину.

— Куда вас отвезти? — холодно поинтересовался он.

— Поедьте к вам, — предложила она. — Я полагаю, вы хотите поскорее одеться подобающим образом... Мне же все равно.

— Скажите все же, где вы живете?

— На авеню Клебер... Меня зовут мадам Жевинь... Мой муж — владелец судовой верфи...

— Мэтр Флавьер... адвокат.

Он решил избегать скользкой темы.

— Я живу на улице Мобеж, на углу с улицей Ламартина.

— Вы, должно быть, сердитесь на меня, — продолжала Мадлен. — Я сама не знаю, что произошло...

— А я знаю, — сказал Флавьер. — Вы хотели покончить с собой.

Он немного помолчал, ожидая ответа, протеста.

— Вы можете довериться мне, — продолжал он. — Я готов все понять. Случается, что какое-то несчастье, или разочарование...

— Нет, нет, — сказала она тихо, — это вовсе не то, что вы думаете.

И она снова превратилась в незнакомку из театра, в женщину с веером, в ту другую Мадлен, которая накануне склонялась над забытой всеми могилой...

— Мне захотелось броситься в воду, — продолжала она, — но, клянусь вам, я сама не знаю почему.

— И вместе с тем вы предварительно написали письмо!

Она покраснела.

— Письмо адресовалось моему мужу. Впрочем, то, что я пыталась объяснить ему, было до того необычным, что я предпочла...

Повернув голову к Флавьеру, она положила руку на его руку.

— Вы верите, месье, в то, что можно ожить? Я хочу сказать... ну, что можно умереть, а затем... вновь родиться в ком-то другом... Вот видите!.. Вы не осмеливаетесь мне ответить!.. Вы ведь явно принимаете меня за сумасшедшую...

— Однако...

— И тем не менее я не сумасшедшая, нет... Но мне кажется, что мое прошлое уходит куда-то в глубину лет... в мои детские воспоминания, будто там есть что-то вроде другой жизни, четко мною осознаваемой... Даже не знаю, зачем я рассказываю вам все это...

— Продолжайте, — пробормотал Флавьер. — Продолжайте!

— Я вновь вижу вещи, которых на самом деле никогда... и лица... лица... существующие теперь только в моей памяти. А иногда мне кажется, что я старая-престарая женщина.

Флавьер, не шевелясь, слушал ее глубокое контральто.

— Должно быть, я больна, — продолжала она... — А вместе с тем, если бы я была больна, то мои воспоминания не отличались бы такой четкостью. Они были бы беспорядочны, бессвязны.

— А только что?.. Вы поддались какому-то импульсу или же осуществляли заранее принятое решение?

— Скорее.. осуществляла решение.. но все это в моей голове я неясно чувствую. Я ощущаю, что все больше и больше становлюсь чужой и что моя действительная жизнь уже позади.. а в таком случае... к чему все это продолжать? Для всех, и для вас лично, смерть — это антоним жизни... А для меня...

— Не говорите так, — попросил Флавьер. Прошу вас... Подумайте о вашем муже!

— Бедняга Поль! Если бы он только знал!

— Вот он-то ничего и не должен знать. Все это должно остаться между нами.

Флавьер не смог помешать себе произнести эту фразу с нежной интонацией, и она вдруг улыбнулась с приводящим в замешательство лукавством.

— Для вас это профессиональная тайна? — спро-

сила она. — Теперь я совершенно спокойна. Мне повезло, что вы проходили мимо.

— Да, мне необходимо было повидаться с одним предпринимателем, стройка которого находится недалеко, но если бы не такая прекрасная погода, я несомненно поехал бы на машине.

— А я была бы уже мертва, — прошептала она. Такси остановилось.

— Вот мы и приехали, — сказал Флавьер. — Простите за беспорядок в моей квартире. Я холост, да и к тому все время в делах...

Ни в вестибюле, ни на лестнице, к счастью, не было ни души.

Флавьеру было бы неудобно, если бы кто-нибудь из жильцов увидел его в подобном наряде. В тот момент, когда он отпирал дверь, пропуская Мадлен впереди себя, в квартире трезвонил телефон.

— Это, вероятно, кто-то из клиентов. Садитесь, я сейчас.

И он побежал к себе в кабинет.

— Алло!

Звонил Жевинь.

— Я уже дважды звонил тебе, — торопливо пояснил он. — Я вдруг вспомнил кое-какие подробности по поводу самоубийства Полины... Она бросилась в воду... Не знаю, чем это сможет тебе помочь, однако, на всякий случай, решил поставить тебя в известность... Ну, а у тебя как дела?

— Потом расскажу, — проговорил Флавьер. — Я сейчас не один.

Глава 4

Флавьер бросил недоверчивый взгляд в свой деловой дневник. На шестое мая были запланированы три встречи, два дела о наследстве и один развод. Ему уже чертовски надоела эта дурацкая профессия, но он никак не мог опустить железный занавес и повесить табличку: «Закрывается по причине мобилизации» или же смерти... или еще чего-нибудь. И опять телефон будет трезвонить целый день, а в конце дня позвонит или придет Жевинь. Он очень требователен, этот Жевинь. Все ему расскажи в малейших подробностях... Сев за

свой письменный стол, Флавьер открыл досье мадам Жевинь. Итак — 27 апреля: прогулка в Булонском лесу; 28 апреля: вторая половина дня проведена в Парамунте; 29 апреля: особняк Рамбуи и долина де Шеврез; 30 апреля: Маринян, чаепитие на террасе «Галери Лафайет», легкое недомогание, вызванное суетой, пришлось спуститься вниз, Мадлен много смеялась; 1 мая: прогулка в Версаль, Мадлен хорошо водит машину, хотя его «Симка» довольно капризна; 2 мая: лес в Фонтебло; 3 мая: я ее не видел; 4 мая: небольшая прогулка в Люксембургском саду; 5 мая: длительная прогулка в Бос, издали видели Шартрский собор...

Должен ли он был записать напротив даты «6 мая»: «Я люблю ее. Я больше не могу без нее обходиться»? Так как отныне Флавьер был одержим и движим любовью. Меланхоличной любовью, тлеющей, словно огонь в заброшенной шахте. Мадлен, похоже, ни о чем не догадывалась. Он был для нее не более, чем другом, приятным спутником, с которым можно откровенно поболтать. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы представить его Полю! Флавьер старался играть роль обеспеченного адвоката, работающего для того, чтобы убить время, и который несказанно рад, что может хоть чем-то помочь хорошенькой женщине, развеять свою скуку. О случае в Курбеуа было благополучно забыто, вместо этого у Флавьера появилось право на Мадлен. Своим поведением она умела напоминать ему о том, что он спас ее; она обходилась мило с ним, и внимательно, и почтительно, в общем так, как она обращалась бы со своим дядей, родственником или опекуном. Поэтому признание в любви в такой ситуации выглядело по крайней мере нелепо. И потом — ведь существовал еще и Жевинь! Вот почему ежевечерне Флавьер считал своим долгом составлять подробный и полный отчет, Жевинь слушал его молча, хмуря брови, после чего заводил разговор о странной болезни Мадлен.

Закрыв досье, Флавьер вытянул ноги и скрестил пальцы рук... Какой же все-таки странной болезни подвержена Мадлен?! По двадцать раз на дню он мысленно снова и снова присматривался к ее манерам и прислушивался к ее речам, раскладывая их, словно карточки из картотеки полиции, и с маниакальным вниманием разглядывал. И каждый раз он приходил к од-

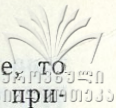
ному и тому же выводу: душевнобольной Мадлен не была. Однако вполне нормальной считать ее тоже не приходилось. Она любила жизнь, движение, толпу, она была весела и к тому же весьма умна... С виду она казалась самой что ни на есть жизнерадостной женщиной. И это можно было отнести к ее светлой стороне жизни, ее жизнелюбивому началу. Однако существовала еще и другая — темная, таинственная. Мадлен временами была холодна, замкнута, не лишена эгоизма, расчетливости... Да, да, в глубине души она была холодна, безразлична, неспособна испытывать желание и страсть. Жевинь оказался прав: как только перестанешь развлекать ее, удерживать ее на поверхности жизни, она тут же погружается в нечто похожее на забытие, но не имеющее ничего общего ни с мечтательностью, ни с грустью, а скорее с каким-то неуловимым изменением душевного состояния, как если бы часть ее души покинула ее и растворилась в пространстве. И Флавьеру многократно приходилось видеть ее подле себя именно такой — медленно ускользающей, скрывающейся, словно сновидение, словно медиум, уступающий какому-то невидимому, но мощному побуждению.

— Что-то случилось? — спросил он у нее однажды.

Мадлен медленно пришла в себя, ее лицо оживилось, она, казалось, испытывала свои мускулы, свои нервы, неуверенно улыбнулась, а затем часто заморгала ресницами и, повернув голову, наконец ответила:

— Нет. Все в порядке.

Ее глаза убедили его. Возможно, когда-нибудь она решится на другие признания, а пока что Флавьер избегал доверять ей руль. За рулем она чувствовала себя довольно уверенно, но в ее вождении ощущалось что-то фатальное... Впрочем, это слово не вполне подходит в данном случае. Флавьер безуспешно пытался уточнить и выразить словами создавшееся у него впечатление... Мадлен даже не защищалась, а воспринимала все в таком виде, как оно существовало. Он вспомнил время, когда его лечили от гипотонии. Да, это очень походило на данный случай. Малейшее движение не проходило для него бесследно. Если бы даже он увидел на земле тысячефранковый билет, то не смог бы решиться поднять его. Так и в Мадлен чувствовалась какая-то сломанная пружина.. Флавьер был уверен, что



если бы перед ней возникло какое-то препятствие, то она бы даже не попыталась как-то отреагировать, при тормозить, повернуть руль. Она бы не попыталась найти какой-то выход из положения, как это уже имело место в случае, происшедшем с ней в Курбева. И еще одна интересная деталь: она никогда не выбирала место прогулки.

— Не доставит ли вам удовольствие поездка в Версаль или же в Фонтенбло? Или, быть может, вы предпочитаете остаться в Париже?

— Мне все равно... — Или же: — С огромным удовольствием.

Всегда один и тот же ответ. И несмотря на это, через пять минут она уже смеется, явно веселится, щеки ее розовеют, она пожимает руку Флавьеру, а тот чувствует рядом с собой полное жизни тело. Несколько раз он не смог удержаться, чтобы не шепнуть ей на ухо:

— Вы очаровательны!

— Правда? — спрашивала она, подняв глаза.

И всякий раз он чувствовал, как его сердце сжимается, когда он смотрит в ее до того прекрасные голубые глаза, что и при дневном свете, казалось, ослепляли его. Она быстро уставала и постоянно чувствовала голод. В четыре часа ей непременно нужно было пообедать булочкой с вареньем и чаем. Флавьеру не очень нравилось сопровождать ее в кондитерские или чайные салоны, поэтому он как можно чаще увозил ее за город. И все же, когда ему приходилось есть ромовые бабки или эклеры, он чувствовал себя до глубины души виноватым, потому что в мире шла война, и мужья или возлюбленные официанток и продавщиц находились где-то между Северным морем и Вогезами. Однако Флавьер понимал, что Мадлен нуждалась в сладостях именно потому, что ей необходимо было преодолеть эту апатию, эту пустоту, это небытие, эту ночь, в которую она была готова погрузиться в любое мгновение.

— При виде вас я всегда вспоминаю Вергилия, — признался он ей как-то раз.

— Почему?

— Вы помните отрывок, когда Эней спускается к Плутону? Он оставляет повсюду вокруг себя кровь, а

тени мертвых приходят вдохнуть запах этой крови, они питаются этим запахом, обретая на некоторое время плоть и говорят, говорят, как они сожалеют о мире живых!

— Но... я не понимаю...

Он подвинул к ней тарелку с рогаликами.

— Ешьте... Доедайте все... Мне кажется, что вам тоже не хватает плоти и реальности. Ешьте, моя маленькая Эвридика!...

Она улыбнулась. Прилипшая к краю губ крошка делала ее маленькой и беспомощной.

— Вы взволновали меня этими мифами!

После затянувшейся паузы она добавила:

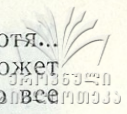
— Эвридика!... Какое милое имя... Но вы ведь действительно вырвали меня из ада!

И вместо того, чтобы снова увидеть Сену, грязную набережную, Флавьер думал о высеченных в скале жилищах на берегу Луары, о подземельях, в которых слышался лишь шум падающих капель, и накрыл своей ладонью руку Мадлен.

С того дня он стал в шутку называть ее Эвридикой. Наверное, из-за Жевиня он не осмелился бы называть ее просто Мадлен. Ведь Мадлен замужем, женщина, которая принадлежит другому мужчине, а Эвридика, напротив, полностью принадлежала ему, и только ему. Это же он держал ее, мокрую, с тенью смерти на лице, на своих руках. Пусть он смешон! Он жил в постоянных страданиях, в шуме болезненных впечатлений. Возможно! Однако до сих пор ему никогда не доводилось чувствовать в глубине своей души такое спокойствие, такую полноту радости, в которых исчезало его недавнее прошлое с его страхами и угрызениями совести: он уже и так давно ждал ее — эту до умопомрачения очаровательную молодую женщину! Еще с тринадцати лет! С того самого времени, когда он склонялся к сердцу земли, к черному миру призраков и фей в том подземелье.

Раздался телефонный звонок, и Флавьер снял трубку, заранее зная, кто звонит.

— Алло! Это вы?.. Свободны?... Я тоже... Да, хотя у меня много работы, но ничего срочного пока нет... Это доставит вам удовольствие? Seriously?... Тогда договорились. Только мне нужно будет вернуться к пяти ча-



сам... Ну, честно говоря, это вы решите сами... Хотя... вы ставите меня в затруднительное положение... Может быть, в музей? Хотя это и не очень оригинально, но все же... А что вы скажете по поводу небольшой сентиментальной прогулки по Лувру?.. Нет, еще далеко не все эвакуировано. Осталось еще немало ценных вещей.. Да, да, именно поэтому стоит поторопиться... До скорой встречи.

Флавьер осторожно опустил трубку на рычаг, как будто эхо любимого голоса продолжало звенеть в проводах. Так что же принесет ему этот день? Скорее всего, не больше, чем предыдущий. Ситуация оставалась безвыходной, Мадлен излечить не удастся никогда. Зачем же тогда заниматься самообманом? А может быть, с тех пор, как он опекает ее, она уже меньше думает о самоубийстве, но в глубине души она все же не оставила мысль об этом. Это была навязчивая идея. Так что же сказать Жевиню? Должен ли он посвящать его в свои догадки? Флавьеру казалось, что он все время бредет по кругу. Из-за прокручивания одних и тех же мыслей в конце концов он стал невосприимчив, не способен к малейшим умственным усилиям.

Взяв шляпу, Флавьер вышел на улицу. Клиенты вернутся попозже, или вообще не вернутся, какая разница! Ведь Париж, возможно, подвергнется бомбардировке. И если война затянется, он сочтет своим долгом пойти в армию. Но в любом случае будущее представлялось до ужаса неясным. Все, кроме любви, настоящей жизни и солнца, играющего в листве, не имело смысла. Он чисто инстинктивно пытался выйти на бульвар, туда, где было шумно и многолюдно — ему было полезно на некоторое время забыть о Мадлен. Бродя вокруг здания оперы, он вдруг понял, что эта женщина имела над ним странно-огромную власть: она буквально забирала у него все силы, а он состоял при ней в роли донора, дающего не только кровь, но и душу. И доказательством тому служил тот факт, что когда он находился один, то ему было необходимо погрузиться в человеческий поток, чтобы восстановить потерянную накануне энергию. Итак, теперь он больше ни о чем не думал; лишь время от времени ему приходила в голову мысль, что у него, вероятно, появился шанс выжить... Иногда он позволял себе предаться мечтам... Жевинь умирает,

Мадлен свободна... Он утешал себя, придумывая невероятные коллизии, подробно рисуя себе нелепейшие истории. И тогда вскоре он достигал полной свободы, как курильщик опиума. Толпа медленно несла его, а он позволял ей нести себя, отдыхая от своего статуса человека.

На минуту Флавьер задержался перед витринами ювелирного магазина «Лансея». У него не было ни малейшего желания покупать что-то, просто ему нравилось любоваться драгоценностями и сверканием золота на фоне темного бархата. И вдруг он вспомнил, что Мадлен сломала свою зажигалку. А в витрине на стеклянном подносе размещалось много зажигалок, портсигаров и дорогих металлов. Она конечно, может на него обидеться. Войдя в магазин, Флавьер выбрал крошечную зажигалку из низкосортного золота и русский портсигар из кожи. Впервые солидная трата денег была ему приятна. Достав открытку, он написал: «Спасенной Эвридике», и вложил в открытый портсигар. Он отдаст ей этот небольшой пакет в Лувре или немного позже, когда они вместе найдут куда-нибудь перекусить перед тем, как расстаться. Благодаря этой покупке утро обрело иные краски и наполнилось каким-то радостным содержанием. Он улыбался, нащупывая пакет, перевязанный шелковой ленточкой. Дорогая, дорогая Мадлен!

В два часа дня он уже ожидал ее на площади Этуаль. Она всегда приходила на свидание без опозданий.

— Надо же, вы сегодня вся в черном.

— Я очень люблю черный цвет, — призналась она.

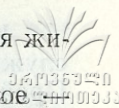
— Почему? Ведь черный цвет такой мрачный.

— Вовсе нет. Напротив, это придает значительность всему, о чем думаешь. И тогда приходится воспринимать себя всерьез.

— А если бы на вас было что-то синее или зеленое?

— Я не знаю. Мне бы казалось, что я ручеек или тополь... Когда я была маленькой, то считала, что цвета обладают магической силой... Вот почему мне захотелось заняться живописью.

Совершенно естественным жестом, приведшим его в состояние совершенной умиленности, она взяла его за руку.



— Я тоже, — сказал он, — пытался заниматься живописью, но я плохо владею техникой рисунка.

— О, какое это имеет значение. Ведь главное это цвет.

— Мне бы хотелось взглянуть на ваши полотна.

— О, они ничего особого собой не представляют, и совсем ни на что не похожи. Это просто так, сны... А вам снятся цветные сны?

— Нет, только черно-белые... как в кино.

— Ну, тогда вы не сможете понять. Тогда вы — слепец.

Рассмеявшись, она сжала его руку, чтобы дать понять, что это была шутка.

— Если бы вы знали, насколько это красивее того, что называется реальностью, — продолжала она. — Представьте себе, если, конечно, это в ваших силах соприкасающиеся, взаимно пожирающие и выпивающие друг друга цвета, полностью проникающие в вас. И тогда вы начинаете походить на насекомых, которые сливаются с листом, на котором они сидят, на рыб, маскирующихся под кораллы. А еще по ночам мне снятся все новые и новые страны.

— И вам тоже... — прошептал он.

Прижавшись друг к другу и ни на кого не обращая внимания, они шли по площади Конкорд. Флавьер смутно отдавал себе отчет в том, куда они идут. Испытывая сладостное чувство от этих признаний, он одновременно был начеку, не забывая о странностях Мадлен.

— В детстве эта неизвестная страна была моей навязчивой идеей, всюду преследовавшей меня. Я бы даже смог показать вам на карте, где она расположена, — пояснил он.

— Но это не та страна, которая мне снится!

— Да нет же! Это именно она. Только моя наполнена мраком, а ваша — светом, но я точно знаю, что они составляют единое целое.

— А ныне вы в нее уже не верите?

Некоторое время Флавьер пребывал в нерешительности, не зная, что ей ответить. Но она посмотрела на него с таким доверием и, казалось, придавала сейчас его ответу такое большое значение, что он отважился:

— Я сейчас верю, особенно с тех пор, как познакомился с вами.

Какое-то время они шли молча, а ритм их шагов служил как бы продолжением их общих размышлений. Пройдя огромный двор, они поднялись по узкой темной лесенке и вскоре очутились в прохладе величественных сводов, окруженные египетскими богами.

— А я в нее не верю, — отозвалась Мадлен, — хотя точно знаю, что она существует... И та страна такая же реальная, как и эта. Только говорить об этом нельзя.

Они проходили мимо уставившихся на них статуй с пустыми глазницами, ноги их были выровнены по одной линии, словно шеренга солдатских сапог. То там, то здесь белели саркофаги, глыбы камней, опоясанных неподдающимися расшифровке знаками, а в торжественных глубинах пустых залов встречались сидящие хищники с отвратительными гримасами на ободранных мордах и представители сказочной фауны.

— Я уже однажды бывала здесь с каким-то мужчиной, — прошептала она. — Это было давно, очень давно. Он был похож на вас, но только носил бакенбарды.

— Это, несомненно, галлюцинация. Галлюцинация уже виденного — весьма распространенное явление.

— Нет! Нет! Я могла бы вам назвать ужасно подробные детали... Вот послушайте, я часто вижу город, названия которого не знаю... Я даже не знаю во Франции ли он? А вместе с тем я прогуливаюсь по нему в снах, как будто прожила в нем всю жизнь... Через него протекает река... Справа, на берегу, стоит галло-романская триумфальная арка... А если пойти вверх по авеню, вдоль которого высажены платаны, то слева расположены арены... Точнее, несколько сводов с полуразрушенными лестницами. А в глубине арен растут три тополя и пасутся стада барашков...

— Однако! Я ведь знаю, где это! Я знаю где этот город! — воскликнул Флавьер. — Это Сент, а река, протекающая через него — Шарант!

— Возможно...

— Только арены там очищены, и на них не растут никакие тополя.

— Ну, а в мои времена, должно быть, росли... А существует ли по-прежнему небольшой фонтанчик, в

который девушки, желавшие выйти замуж, бросали свои булавки?

— Да это же фонтанчик Сент-Этель!

— А стоит ли еще за аренами церковь... такая высокая со старинным колоколом?.. Мне всегда нравились старинные церкви...

— Это церковь Сент-Утроп!

— Ну, вот видите.

Они медленно шли вдоль загадочных развалин, окутанных запахом воска, время от времени минуя внимательных, сосредоточенных, ученого вида посетителей. Мимоходом отмечая мелькавших львов, сфинксов и крылатых быков — настолько они были поглощены собой.

— Как вы сказали называется этот город?

— Сент... Он расположен под Руаяном.

— Должно быть, я жила там когда-то...

— Что значит «когда-то»? Вы хотите сказать — в детстве?

— Да нет же, — спокойно ответила Мадлен, — в моей другой жизни.

Флавьер не стал оспаривать эти ее слова, вызвавшие в нем множество разноречивых ощущений.

— Где вы родились?

— В Арденах, на самой границе, по нашим местам бесконечно проходила какая-то война. А вы?

— А я воспитывался у своей бабушки под Сомюром.

— Я — единственная дочь у родителей, — продолжила Мадлен. — Моя мать часто болела, а отец все время был занят делами на заводе. Так что детство у меня было не очень веселое...

Они вошли в зал, стены которого были увешаны картинами, а рамы сверкали позолотой. Глаза портретов были устремлены на входящих, и еще долго цепко глядя на посетителей, не упускали их из поля зрения. Это были вельможи с худыми лицами, богатые офицеры в роскошных мундирах, держащие руку на эфесе шпага на фоне вздыбленной лошади.

— А в детстве, — прошептал Флавьер, — вы уже видели эти сны?... Вы испытывали какие-то предчувствия?

— Нет. Я просто была маленькой, одинокой и молчаливой девочкой.

— А когда же это произошло?

— Это произошло совсем недавно... мгновенно... Я неожиданно почувствовала, что нахожусь не у себя... что живу у какого-то чужого мужчины... Понимаете, это похоже на чувство человека, внезапно очнувшегося и не узнающего комнату, в которой он находится.

— Да, я понимаю... Если бы я был уверен, что вы не обидетесь, то задал бы вам еще один вопрос, — сказал Флавьер.

— У меня нет секретов, — задумчиво ответила Мадлен.

— Значит, можно?

— Пожалуйста.

— Не думаете ли вы по-прежнему о том... чтобы исчезнуть?..

Остановившись, Мадлен подняла на Флавьера глаза, которые, казалось, все время молили о чем-то.

— Вы не поняли, — прошептала она.

— Ответьте, пожалуйста...

Вокруг одной из картин собралась небольшая группа посетителей. Флавьер заметил, что на полотне изображен крест, мертвенно-бледное тело, упавшая на плечо голова и струйка крови на левой груди, а поодаль — поднятое к небу лицо женщины. Повиснув у него на руке, Мадлен была не тяжелее тени.

— Нет... Не настаивайте.

— И все же я настаиваю... ведь это как в ваших, так и в моих интересах.

— Роже... я вас очень прошу, не нужно об этом...

Ее голос был едва слышен, и вместе с тем Флавьер почувствовал глубочайшее волнение. Обняв Мадлен за плечи, он привлек ее к себе.

— Так, значит, вы еще не поняли, что я люблю вас?! Что я не хочу вас потерять?!.

Они механически продолжали двигаться вперед мимо ликов мадонн, скорбящих и мертвенно-бледных ликов мучеников Голгофы, и Флавьер еще долго сжимал ее руку в своей.

— Вы вселяете в меня страх, — сказал он. — Но вы нужны мне... Возможно, мне просто необходимо испытывать страх... чтобы презирать брэнное существова-

ние, которое я влачу. Если бы только я был уверен, что вы не ошибаетесь!

— Пойдемте отсюда.

Ища выход, они пошли по пустынным залам, и уже Мадлен не выпускала его руки, а напротив, сжимала ее все крепче и крепче. Сойдя вниз по лестнице, они, несколько запыхавшись, очутились на лужайке, по которой прогуливалась радуга от вращающегося фонтанчика. Флавьер остановился.

— Я спрашиваю себя: а может быть, мы слегка сошли с ума?... Вы помните, что я вам только что говорил?

— Да, — ответила Мадлен.

— Я сказал вам, что люблю вас... Вы слышали?

— Да.

— А если бы я вам это повторил, вы бы не рассердились?

— Нет.

— Потрясающе!.. Вы не хотите еще немного пройтись?.. Нам столько нужно сказать друг другу!

— Нет... Я устала... Я, пожалуй, пойду домой.

Она была бледна и казалась перепуганной.

— Я остановлю такси, — предложил Флавьер. — Но прежде, я надеюсь, вы примете от меня этот маленький подарок?

— А что это?

— А вы разверните и посмотрите.

Развязав бантик, Мадлен развернула пакетик и, положив на вытянутую руку зажигалку и портсигар, покачала головой, а затем, раскрыв портсигар и достав оттуда открытку, прочла написанное.

— Бедный мой друг... — произнесла она.

— Пойдемте.

Флавьер проводил ее до улицы Риволи.

— Не благодарите меня, — сказал он. — Я ведь знаю, что вам хотелось иметь новую зажигалку... Мы увидимся завтра?

В ответ она кивнула головой.

— Вот и отлично. Мы с вами поедem за город...

Нет, нет, только ничего не говорите. Я хочу остаться под впечатлением от этой встречи. А вот и такси... Эвридика, дорогая, вы даже не представляете себе, каким счастливым вы сделали меня.

Взяв ее руку, упрятанную в изящную перчатку, он легко прикоснулся губами к ней.

— Не оборачивайтесь, — сказал Флавьер, захлопывая дверь.

Он почувствовал себя крайне уставшим и умиротворенным, как в детстве, когда он, бывало, целыми днями гонял по берегам Луары...

Глава 5

Все утро Флавьер провел в тщетных ожиданиях телефонного звонка от Мадлен, а в два часа побегал на место их обычных встреч — площадь Этуаль, но она не пришла. Тогда он позвонил Жевиню, но оказалось, что тот уехал в Гавр и должен вернуться лишь к десяти часам следующего дня.

День прошел отвратительно, а ночью Флавьер так и не сомкнул глаз. Вскочив с постели задолго до рассвета, он принялся расхаживать по кабинету. Его мучили и изводили возникающие в мыслях образы. Нет, с Мадлен ничего не случилось. Это невозможно! И тем не менее... Сжав кулаки, он пытался совладать с собой, чтобы хоть как-то сдержать охватывающую его панику. Ему ни в коем случае не следовало делать Мадлен подобное признание! Они оба обманули Жевиня, и кто знает, до чего ее, с такой ранимой психикой, могут довести угрызения совести!.. Как он ненавидел себя в этот момент! Ведь Жевиня ему, в сущности, не в чем было упрекнуть — тот доверился ему, поручив оберегать Мадлен. Необходимо покончить с этой глупой историей, и чем скорее, тем лучше... Однако, когда Флавьер попытался представить себе жизнь без Мадлен, какой-то ком подкатил к горлу, и ему стало трудно дышать. Он схватился за край стола, затем за спинку кресла. У него возникло непреодолимое желание проклясть Бога, судьбу, фатальность, тайные силы — неважно как назвать то, что привело к такому жестокому стечению обстоятельств. Итак, ему навсегда уготована участь изгоя. Даже война не коснулась его. Он сел в то кресло, которое выбрал Жевинь в первый свой приход. Не преувеличивает ли он свое несчастье? Ведь страсть, настоящая страсть не может развиваться за две недели...

Подперев подбородок руками, Флавьер принялся критически оценивать себя. Что он вообще понимает в любви? Ведь, в сущности, он никого никогда не любил. Да, конечно! Он всегда страстно стремился ко всей этой видимости счастья, словно бедняк к витрине богатого магазина. Однако перед ним непременно возникали какие-то препятствия — непреодолимые и жестокие. Когда же его в конце концов все-таки произвели в должность инспектора, ему показалось, что он стоит на страже этого блистательного, счастливого и запретного мира. Теперь же его витриной была Мадлен. Проходите, не задерживайтесь!... Мадлен... нет... Он не имеет права... Он не может разбить витрину и стать вором. Тем хуже для него! Он отрекся бы! Трус! Ничтожество! Вот как, оказывается, пасует он перед первым же препятствием к собственному счастью! И это в тот миг, когда Мадлен, возможно, уже готова полюбить его!..

— Хватит! — сказал он вслух. — Хватит! Пусть в конце концов все остается, как было, пусть все оставят меня в покое!

Чтобы поднять настроение, Флавьер заварил себе очень крепкий кофе и какое-то время бесцельно бродил из кухни в кабинет, из кабинета в прихожую. Эта обосновавшаяся в его теле и мыслях незнакомая боль, мешавшая ему глубоко вздохнуть, несомненно, походила на любовь. Он чувствовал, что готов совершить любые глупости; он почти гордился тем, что, несмотря на свое подавленное состояние, несет чушь. Как он мог в течение столь длительного времени видеть в своем кабинете столько людей, изучать столько дел, выслушивать столько признаний и ничего не понять, упорно не видеть истины?! Он лишь пожимал плечами, когда какой-нибудь клиент восклицал со слезами на глазах: «Но ведь я люблю ее!» И у него возникало желание сказать: «Успокойтесь и не смешите меня своей любовью. Что такое любовь? Это — детский сон! Это нечто весьма милое, очень чистое, однако непостижимое для человеческого разума. А постель меня не интересуется!» Идиот!

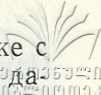
В восемь часов вечера он все еще ходил в домашнем халате и шлепанцах, непричесанный и со странным блеском в глазах. Он так ничего и не решил. Позвонить Мадлен он не мог, потому что она ему категорически запретила делать это, объяснив, что прислуга

ни о чем не должна догадываться. Впрочем, вполне возможно, что она не желала его больше видеть. Быть может, она даже боялась...

Он рассеянно побрился и оделся. Затем, помимо своей воли, понял, что ему срочно нужно повидаться с Жевинем. У него вдруг появилась необходимость излить душу перед кем-нибудь и, в то же время, он с тайным злорадством подумал, что вполне может продолжать успокаивать Жевиня, продолжая видеться с Мадлен. И какой-то радостный огонек замерцал в тумане его сомнений. Он заметил, что сквозь шторы, которые он забыл отдернуть, начали пробиваться лучи солнца. Выключив люстру, Флавьер широко раздвинул шторы. Без всяких на то причин у него вдруг снова поднялось настроение; наверное, потому, что погода стояла прекрасная, а война фактически еще не началась. Выходя, он оставил под половиком ключ для приходившей к нему убирать горничной и любезно поздоровался с консьержкой. Теперь все казалось простым и доступным. Он охотно улыбнулся бы даже своим недавним тревогам. Нет, решительно, он не изменился. Он всегда был игрушкой во власти каких-то таинственных маятников, беспрестанно качающихся в нем от отчаяния — к надежде, от веселости — к меланхолии, от сомнений — к дерзким решениям. И никакой передышки, ни одного дня настоящего отдыха, душевного равновесия. Хотя, рядом с Мадлен... Но он тут же приказал исчезнуть образу Мадлен из мыслей, дабы снова не прийти в замешательство.

Париж был до того прекрасен, что походил на мираж. Никогда еще солнечный свет не был столь нежным, столь чувствительно ощутимым. Хотелось прикоснуться к деревьям, к небу, прижать к сердцу этот большой, лениво потягивающийся после сна и умывающийся лучами утреннего солнца город. Флавьер медленно побрел по улицам, но к десяти часам уже входил в контору Жевиня.

Вид у Жевиня был усталый. Через несколько лет при таких темпах работы под глазами у него появятся мешки, щеки отвиснут, станут морщинистыми, и прожитые полвека станут отчетливо заметны. Придвигая стул к письменному столу, Флавьер со злорадством отметил это. Жевинь быстро вернулся и, хлопнув на ходу Флавьера по плечу, шутливо произнес:



— А ты знаешь, я тебе даже завидую. Я бы тоже с удовольствием проводил время в обществе милой дамы... Но, к сожалению, приходится вести изматывающий образ жизни.

Тяжело опустившись в кресло, он повернулся в сторону Флавьера:

— Ну, что скажешь?

— Да так, ничего нового. Позавчера мы вместе бродили по Лувру, а вчера я ее не видел. Я надеялся, что она мне позвонит и, признаюсь, это молчание...

— Ничего страшного: просто Мадлен неважно себя чувствовала. Да и сейчас, возвратившись из Гавра, я застал ее в постели. Думаю, что завтра она уже будет на ногах — я к этому уже привык!

— А она рассказывала тебе о своей прогулке?

— Буквально в двух словах и показала какие-то безделушки, которые купила себе... зажигалку, кажется... В общем, тем, как она выглядит, я доволен...

— Тем лучше, я очень рад.

Скрестив ноги, Флавьер небрежно закинул руку на спинку своего стула и до безумия упивался вновь обретенным чувством равновесия.

— Я вот все думаю, — сказал он, — стоит ли продолжать это наблюдение...

— Как?! Неужели ты хочешь?! Да ты что! Ты же сам видел, на что она способна!

— Да, да, — произнес Флавьер в замешательстве. — Однако... Дело в том... Мне вовсе неинтересно ходить по пятам за твоей женой... Пойми же меня... В этой роли я похож... даже сам не знаю, на кого. Я очутился, если хочешь, в какой-то ложной ситуации...

Взяв со стола нож для разрезания бумаги, Жевинь принялся открывать и закрывать его, затем, часто закивав головой, пробормотал:

— А ты думаешь, мне нравится такое положение вещей? Я отдаю должное твоей щепетильности, однако выбора у нас с тобой нет. Если бы я мог уделять Мадлен больше времени, то, разумеется, сам бы попытался выпутаться из этой ситуации. Но, к сожалению, моя работа отнимает у меня все больше и больше времени.

Отбросив нож и скрестив руки на груди, он втянул голову в плечи и пристально посмотрел на Флавьера.

— Дай мне еще две, от силы три недели, старина. При поддержке министерства я вскоре, несомненно, расширю сеть своих судоверфей, и тогда мне придется полностью перебраться в Гавр. Если мне это удастся, то я постараюсь уговорить Мадлен уехать со мной. До тех пор понаблюдай за ней. Я знаю, что взвалил на твои плечи тяжелое бремя, однако мне необходимо еще две недели, чтобы покончить со всеми неотложными делами.

Флавьер сделал вид, что слова Жевиня заставили его задуматься.

— Раз ты утверждаешь, что это займет не больше двух недель...

— Слово чести!..

— Ну ладно. И все же я хочу, чтобы ты знал и мое мнение. Я не одобряю эти прогулки. Я — человек с хрупкой психикой и у меня богатое воображение... Как видишь, я ничего от тебя не скрываю...

У Жевиня было строгое выражение лица, такое, какое, вероятно, бывает у него на директорских совещаниях. Но все же он улыбнулся и сказал:

— Благодарю! Таких парней, как ты, теперь уже не бывает. Безопасность Мадлен для меня важнее всего.

— У тебя что, есть причины чего-то опасаться?

— Нет.

— А не приходило ли тебе в голову, что если твоя жена вздумает повторить попытку самоубийства, то на этот раз я, возможно, уже не смогу вовремя прийти ей на помощь?

— Да, я тоже думал об этом, — ответил Жевинь, опустив глаза и сильно скрестив пальцы. — Надеюсь, больше ничего подобного не произойдет, — прошептал он... — А если даже и суждено чему-то случиться, то ты, по крайней мере, будешь рядом и сможешь потом мне все рассказать... Самое невыносимое для меня — это неизвестность... Я бы скорее предпочел, чтобы Мадлен была по-настоящему больна. Я предпочел бы видеть ее на операционном столе, под ножом хирурга... Тогда, черт возьми, я бы по крайней мере знал, чего можно ожидать! Мог бы сопоставить все шансы «за» и «против». Но эта неопределенность!.. Ты, похоже, не совсем хорошо понимаешь это...

— Нет, нет, напротив, я очень хорошо все понимаю!



— Ну, и что ты скажешь?

— Я продолжу наблюдение за ней... Не беспокойся!.. Да, кстати, ты знаешь, бывала ли она когда-нибудь в Сенте?

— В Сенте? — удивился Жевинь. — Нет. Я точно знаю, что она никогда там не бывала... А почему ты спрашиваешь?

— Она так детально описала мне этот город, будто когда-то сама жила в нем.

— Что за чушь ты городишь?

— А она никогда не могла видеть фотографии этого города?

— Да нет, это исключено. Говорю же тебе, что мы никогда не ездили на восток страны! У нас даже путеводителя по тем местам нет.

— Ну, а Полина Лажерлак?.. Быть может, она жила в Сенте?

— Ну, старина, ты даешь! Да откуда мне знать, где она жила?!

— Лажерлак... Это, несомненно, сентская фамилия... Как и Коньяк, Шерминьяк, Жемозак — я мог бы назвать еще фамилий двадцать, созвучных этим.

— Да... Возможно... Но что-то я не вижу никакой связи...

— Да она же просто бросается в глаза эта связь.. Твоя жена детально описала мне места, в которых ей, как ты утверждаешь, никогда не доводилось бывать, но которые, несомненно, были хорошо известны Полине Лажерлак... Подожди, не перебивай. Кроме того, она ведь описала город не таким, каким он выглядит сейчас, а таким, каким он был сто лет назад!

Пытаясь понять суть услышанного, Жевинь нахмурил брови и спросил:

— И как ты это объяснишь?

— Никак, — ответил Флавьер, — пока что никак... До чего же это необычно!.. Полина и Мадлен...

— Да что за чушь ты несешь! — оборвал его Жевинь на полуслове. — Ты что забыл, что мы живем в двадцатом веке? Надеюсь, ты не станешь убеждать меня в том, что Полина и Мадлен... Я, конечно, могу допустить, что Мадлен преследуют воспоминания о ее бабушке... Однако, при желании можно найти объяснение всему — именно поэтому я и попросил тебя помочь

мне. Если бы только я мог предположить, что ты намерен...

— Я ведь только что пытался сообщить тебе, что отказываюсь от этого дела.

Флавьер вдруг почувствовал, как между ними вдруг возникло какое-то напряжение. Немного погодя, он встал со своего места.

— Не хочу отнимать у тебя время...

Жевинь в ответ затряс головой.

— Главное — это спасти Мадлен. И мне совершенно наплевать, кто она: больная, сумасшедшая, ясно-видящая, одержимая — лишь бы она жила!

— Она пойдет сегодня на прогулку?

— Нет.

— А когда?

— Завтра, наверное... Сегодня я последую твоему совету и проведу день вместе с ней.

Флавьер не вздрогнул, однако ощутил в себе внезапный прилив ненависти. «Как сильно, оказывается, я могу его ненавидеть, — подумал он... — До чего же он отвратителен!»

— Завтра... Не знаю, буду ли я свободен завтра...

Жевинь в свою очередь встал с места и, обогнув стол, подошел к Флавиеру, положил руку на плечо ему.

— Прости меня, — вздохнул он. — Я стал резким, невыдержанным... Но это не моя вина. Ты в конце концов заставишь меня потерять голову. Послушай-ка, сегодня я хочу провести эксперимент. Мне, правда, в любом случае необходимо поговорить с ней о переезде в Гавр, но я даже не могу себе представить, как она воспримет эту новость... Так что завтра тебе просто необходимо освободиться, чтобы оберегать ее. Я прошу и настаиваю на этом. А завтра вечером ты позвонишь мне или приедешь сюда и расскажешь, что ты заметил, поделишься своими впечатлениями... Я полностью полагаюсь на тебя. Договорились?

И где это только Жевинь научился говорить таким степенным, трогательным и обольстительным голосом?

— Хорошо, — согласился Флавьер и тут же пожалел о своем слишком быстром согласии, полностью отдающем его во власть Жевиня. Впрочем, он так ничего и не мог поделать с собой: малейшее проявление добро-

желательности со стороны собеседника отнимало у него всякую способность сопротивляться.

— Спасибо... Я никогда не забуду всего, что ты делаешь для меня...

И вновь поплыли пустые, смертельно-монотонные часы. Флавьер уже не мог больше думать о Мадлен, не представляя рядом с ней Жевиня. При этом он испытывал щемящую боль. Что же он за человек? Он предавал и Мадлен, и Жевиня, умирал от ревности, от бешенства, от зависти, от отчаяния. И вместе с тем он чувствовал себя чистым душой и искренним. Более того, он даже ни на мгновение не переставал быть искренним!

Размышляя так, Флавьер прослонялся по городу до самого вечера. Иногда уступая ощущению сильной подавленности, ему приходилось садиться то на скамейку в парке, то на террасе кафе. А что случится с ним, если Мадлен покинет Париж? Может, нужно помешать ей принять такое решение? Но как это сделать?

Зайдя наугад в какой-то кинотеатр, Флавьер рассеянно смотрел хронику. На экране по-прежнему мелькали войска, строевые смотры, дислокации войск, маневры. Сидящие вокруг него люди невозмутимо посащивали леденцы. Подобные кадры никого уже не интересовали. Ведь все прекрасно знали, что бошам — крышка! Флавьер, словно путешественник в зале ожидания, впал в изнуряющую дремоту. Боясь заснуть по-настоящему, он встал и ушел до окончания сеанса. В затылке у него появилась боль, в глазах — резь. Этой звездной ночью он медленно брел домой. Время от времени ему встречались спрятавшиеся в нишах дверных проемов мужчины в касках, со свистками на шее и сигаретами в зубах. Однако воздушная тревога казалась весьма маловероятной. Ведь для того, чтобы бомбить Париж, немцы должны были обладать дальней бомбардировочной авиацией, а они, ох, как далеки были от этого!

Закурив сигарету, он прямо в одежде вытянулся на кровати, а сон спеленал его так быстро, что у него даже не хватило сил раздеться.

Проснулся он с четким сознанием того, что тут же над крышами домов выли сирены, причем все сразу одновременно. Погруженный в темноту город походил на

поспешно эвакуирующееся судно. В доме раздавались хлопанье дверей и поспешные шаги. Включив ночник, Флавьер посмотрел на часы: было три часа. Повернувшись на бок, он снова заснул, а когда в восемь часов утра, зевая, поинтересовался, что это была за тревога, узнал, что немцы перешли в наступление, и тут же почувствовал какое-то странное облегчение. Наконец-то война началась! Теперь можно забыть свои собственные тревоги и всецело разделить опасения других людей и присоединиться к ним в их возбужденных, замешанных на стадных инстинктах хлопотах. Грядущие события так или иначе должны были бы вывести его из того состояния, из которого сам он выйти никак не решался. Война сама пришла к нему на помощь. Флавьер вдруг почувствовал прилив жизни, ему захотелось есть. Он больше не испытывал никакой усталости. Вскоре позвонила Мадлен и сказала, что будет ждать его в два часа, как обычно.

Все утро он работал, принимал клиентов, отвечал на телефонные звонки. В голосах своих собеседников он слышал все те же взволнованные нотки, что и в собственном. Новостей, однако, не было почти никаких. Пресса и радио уведомяли лишь о первых успехах, не вдаваясь в подробности. Впрочем, это было вполне естественно. Позавтракал он вместе со своим коллегой недалеко от Дворца Правосудия. Затем они долго беседовали. На улицах незнакомые люди обращались друг к другу, спорили, разворачивали карты Франции, а Флавьер всюду наслаждался этой атмосферой непринужденности, всеми своими порами впитывал царящую атмосферу суматохи и растерянности. У него едва хватило времени вскочить в свою машину и вовремя подъехать к площади Этуаль. Он опьянел от слов, шума и солнца.

Мадлен уже ждала его. Но почему она выбрала именно тот коричневый костюм, в котором она была тогда, когда... На мгновение Флавьер задержал в своей руке руку Мадлен.

— Я едва не умер, беспокоясь за вас, — проговорил он.

— Просто я чувствовала себя не очень хорошо. Извините меня... Вы позволите мне сесть за руль?

— Ну конечно же! Сегодня я в сильном нервном

возбуждении. Они ведь атаковали нас, вы в курсе дела?

— Да, конечно.

Мадлен свернула на авеню Виктора Гюго. И Флавьер сразу понял, что она еще не полностью выздоровела. Когда она переключала передачи, скрежетали шестерни, она резко тормозила и так же нервно трогалась с места, а черты ее лица искажала какая-то нездоровая бледность.

— Мне хочется немного покататься, — сказала Мадлен. — Это, быть может, наша последняя прогулка.

— Почему последняя?

— Кто знает, как развернутся события? Разве я могу быть уверена в том, что останусь в Париже?

Наверное, Жевинь уже говорил с ней об отъезде и, возможно, они повздорили. Флавьер молчал, чтобы не отвлекать ее. Покинув Париж через ворота Ла Мюйет, они углубились в Булонский лес.

— А зачем вам отсюда уезжать? — заговорил Флавьер. — Ведь опасности, что нас будут бомбить, не существует, да и на этот раз немцы до Марна не дойдут.

Поскольку она не отвечала, он настойчиво продолжал:

— Быть может, вы хотите уехать из-за меня?.. Я не хочу причинять вам хлопот, Мадлен... Вы позволите теперь называть вас Мадлен?.. Мне бы только хотелось быть уверенным, что вы никогда больше не станете писать писем подобных тому, которое вы порвали на набережной... Вы понимаете, о чем я говорю?

Она поджала губы и на первый взгляд могло показаться, что она сосредоточила свое внимание на обгоне грузовика. Ипподром в Лоншам походил на огромное пастбище, и взгляд инстинктивно пытался отыскать на нем лошадей, а на мосту Сюресн образовалась пробка, и им пришлось продвигаться чуть ли не шагом.

— Не будем больше говорить об этом, — прошептала она. — Разве нельзя хоть сегодня позабыть о войне и вообще о жизни?

— Но вы грустны, Мадлен. я это хорошо вижу.

— Я, грустна? — переспросила она с несчастной и в то же время ясной улыбкой, просто потрясшей Флавьера. — Я такая же, как и всегда, — продолжила она. — Уверяю вас, я еще никогда так не наслаждалась жизнью, как сегодня... Как прекрасно мчаться навстречу

приключениям по первой попавшейся дороге, ни о чем не думая! Мне бы хотелось никогда ни о чем не думать. Почему мы не животные?

— Ну что вы, Мадлен? Это же полнейший вздор!

— И вовсе нет!.. Животным можно только позабавоваться. Они едят, спят, они невинны! У них нет ни прошлого, ни будущего!

— Вот еще один философ объявился!

— Не знаю, имеет ли это отношение к философии, но я им завидую.

В течение последующего часа они обменялись лишь несколькими ничего не значащими словами. В Бужевиле они снова выехали к Сене и некоторое время ехали вдоль нее. Немного погодя Флавьер узнал замок в Сен-Жермене. В пустынном лесу Мадлен ехала на очень большой скорости, немного притормозила при въезде в Пуасси, а затем поехала прямо. Ее застывший взгляд ничего не выражал. При выезде из Мелана деревянная повозка, которой управляла женщина, заняла середину дороги и Мадлен свернула на проселочную дорогу. Они объехали лесопилку, построенную прямо на земле; лесопилка казалась заброшенной, и приторный запах свежераспиленного дерева еще долго преследовал их. Затем их машина очутилась на перепутье дорог, и Мадлен решительно выбрала правую дорогу, по всей вероятности, из-за растущей вдоль нее живой цветущей изгороди.

Поверх изгороди показалась голова лошади с белой звездочкой на лбу. Мадлен, без всякой видимой причины прибавила газу, и старая машина запрыгала на ухабах. Флавьер незаметно посмотрел на свои часы. Сейчас они остановятся и пойдут рядом по дороге, вот тогда-то он приступит к расспросам, так как она явно что-то скрывает от него. «Возможно, еще до своего замужества она совершила поступок, из-за которого по сей день ее не перестают мучить угрызения совести», — подумал Флавьер. Ведь она не больная, не лгунья, она попросту одержимая и никогда не осмеливалась открыться своему мужу. Чем глубже Флавьер развивал эту гипотезу, тем больше она казалась правдоподобной. Поведение женщины говорило о том, что она чувствовала за собой какую-то вину. Но какую именно? Вина, по видимому, была серьезной...

— Вы знаете, что это за церковь? — спросила Мадлен. — Где мы сейчас находимся?

— Что, что?.. Извините... Что это за церковь?.. При-
знаюсь, не имею ни малейшего понятия... У вас не появилось желани-
я сделать передышку? Ведь уже половина четвертого.

...Они остановились на пустынной паперти. Внизу, за деревьями, виднелись несколько серых крыш.

— Эта церковь не слишком красива, — сказала Мадлен.

— Да, колокольня слишком высоко, — заметил Флавьер.

Он открыл дверь. Их внимание привлекло расположенное над церковной чашей объявление:

«Поскольку месье Грасьен вынужден обслуживать множество прихожан, месса состоится в воскресенье, в 11 часов.»

Они медленно прошли вдоль камней цвета соломы. Снаружи доносилось кудахтанье кур. Иконы с изображением крестного хода уже потрескались. Вокруг алтаря монотонно жужжала пчела. Перекрестившись, Мадлен преклонила колено на покрытую пылью скамеечку для молитвы. Флавьер, стоя за ней, боялся пошевелиться. Какой такой грех отмаливала она? И была ли бы она проклята, если бы утонула? Он не выдержал:

— Мадлен, вы действительно верите в бога? — шепнул он.

Она слегка повернула голову, и ее бледность заставила его предположить, что она снова плохо себя чувствует.

— Что с вами?.. Мадлен, ответьте мне!

— Ничего, — пробормотала она. — Да, я думаю... Я вынуждена поверить в то, что на этой земле ничего не заканчивается. Вот что ужасно!

И она долгое время стояла на коленях, спрятав лицо в ладонях.

— Пойдемте, — сказала она после некоторой паузы.

Поднявшись, она перекрестилась, стоя лицом к алтарю. Флавьер взял ее за руку.

— Будет лучше, если мы выйдем отсюда, — мне не нравится состояние, в котором вы пребываете.

— Вы правы, свежий воздух мне не помешает.

Они прошли мимо разрушенной исповедальни. Флавьер пожалел, что не может оставить там Мадлен, которая по его мнению сейчас очень нуждалась именно в исповеди. Исповедующие все забывают, а вот он? Сможет ли он забыть, если она признается ему в своем грехе? Он услышал, как она пытается в темноте нащупать защелку, как вдруг открылась дверь, ведущая к винтовой лестнице.

— Вы ошиблись, Мадлен... Эта лестница ведет на колокольню...

— Я хочу подняться туда, — сказала она.

— Мы не можем больше задерживаться.

— Всего лишь на пару минут!

И она уже поднималась наверх, а Флавьеру ничего не оставалось делать, как последовать за ней, и он с отвращением поднялся по первым ступеням, цепляясь за грязно-жирный канат, служащий перилами.

— Мадлен!.. Погодите!.. Пожалуйста, не так быстро!

Его голос глухо аукнулся, повторенный коротким эхом, возникшим среди узких стен. Мадлен не отвечала, но каблучки ее туфелек цокали по ступеням. Пройдя по небольшой лестничной клетке, Флавьер в окошечко заметил крышу своей машины и за занавесом зеленых тополей работающих в поле женщин. К горлу подкатил ком тошноты. Он начал подниматься медленнее.

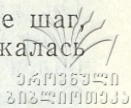
— Мадлен!.. Подождите меня!

В висках застучало, дышать стало тяжело, а ноги плохо слушались его. Добравшись до второй лестничной площадки, он приложил руку к глазам, чтобы не видеть пустоты, но он чувствовал ее слева от себя, под сводами, с которых свисали веревки колоколов. Неожиданно взметнулись вороны и, каркая, закружились над теплыми камнями. Теперь он ни за что не сможет спуститься отсюда.

— Мадлен! — вместо крика у него из горла вырвался хрип.

Ступеням, казалось, не было конца; вот над его головой появилась третья площадка. А там его, конечно же, ожидает головокружение. Он не сможет помешать себе взглянуть вниз. На этот раз он будет выше верхушек деревьев, а его машина превратится в точку. Вокруг него со всех сторон будет дуть ветер, который

приподнимет его, как волну. Флавьер ступил еще шаг, два и... наткнулся на дверь: лестница продолжалась уже за дверью.



— Мадлен!.. Откройте!

Дернув за ручку, он заколотил по двери ладонью. Почему она закрыла эту дверь?

— Нет! — закричал он. — Нет!.. Мадлен!.. Не делайте этого.. Послушайте меня!

Под сводами торжественно зазвучали колокола. Обезумев, он заглянул в замочную скважину. Дверь разделяла их. А нельзя ли обойти эту дверь снаружи? Да, здесь есть узкий карниз, огибающий колокольню. Флавьер прямо задохнулся, очарованный этим карнизом, с которого открывался вид синееющего вдали пейзажа. Кто-то другой, вероятно, смог бы пройти... Кто-то другой, но не он. Он сразу упал бы и разбился насмерть.

— Ох, Мадлен! — как зверь рычал он в своей каменной клетке, и вдруг услышал ее крик.

Перед окном пролетела тень. Снизу донесся глухой короткий удар. Почти теряя сознание, он спустился на ступеньку, повторяя «Мадлен... Мадлен... Мадлен...»

Наконец, с трудом перебираясь со ступеньки на ступеньку, он стал спускаться вниз. На первой площадке он подполз на коленях к узенькому окну и рискнул высунуть голову. Внизу, слева от колокольни, простиралось старое кладбище, и на одной линии со стеной внизу, на гладкой до ужаса поверхности, лежала груда коричневой одежды. Он протер глаза, потому что во что бы то ни стало желал все рассмотреть. И увидел — камни в крови, раскрытая черная дамская сумочка, рядом блестела золотая зажигалка.

Флавьер заплакал, ему даже не пришло в голову спуститься вниз, чтобы оказать ей помощь. Она была уже мертва, и мысленно он умирал вместе с ней.

Глава 6

Флавьер издали посмотрел на тело, а затем, обойдя церковь, прошел через кладбище и замер. Неожиданно он вспомнил голос шептавшей Мадлен: «Это вовсе не больно», и он с отчаянием ухватился за эту мысль: она, по-видимому, не успела испытать боль. Кстати, то же самое говорили и относительно инспектора Лериша.

Он, как и она, тоже упал головой вниз. Неужели при этом не успеваешь испытать боль? Когда Лериш разбился и на асфальт во все стороны брызнула кровь... Флавьер почувствовал приступ слабости. В больнице он увидел своего товарища. При этом в руках у него был отчет медицинской экспертизы. А ведь колокольня гораздо выше того дома, с крыши которого упал Лериш. Флавьер представил себе ужасный удар, треск, что-то похожее на взрыв. От Мадлен не осталось ничего, кроме ужасной массы, похожей на пугало, брошенное к подножию стены. Он опасливо приблизился, заставляя себя смотреть и страдать, поскольку был в ответе за все. Сквозь слезы Флавьер рассмотрел труп Мадлен, лежащий в смятой крапиве, волосы цвета красного дерева, растрепавшиеся и залитые кровью, обнаженный затылок. На руке, уже ставшей восковой, сверкало обручальное кольцо, а среди остатков содержимого черной сумочки — зажигалка. Он поднял ее. Если бы он осмелился, то взял бы и это кольцо и надел бы себе на палец.

Бедная, несчастная Эвридика! Ей уже никогда не возвратиться из небытия, в котором она пожелала исчезнуть!

Медленно пятясь, словно он был убийцей, Флавьер удалялся. Его испугало это бесформенное тело, над которым мелькали тени ворон. Он в панике бежал, перескакивая через могилы, крепко зажав в руке золотую зажигалку. Впервые он повстречался с Мадлен на кладбище и расставался с ней тоже на кладбище. Вот и все. Все кончено. Никто никогда так и не узнает, что и он был здесь, что он не смог набраться смелости и проникнуть в колокольню по карнизу.

Добежав до паперти, Флавьер спрятался в машине и, увидев свое отражение в лобовом стекле, ужаснулся. С этого момента он будет ненавидеть свою собственную жизнь, для него начнется самый настоящий ад.

Он долго ехал, заблудился, потом крайне удивился, узнав вокзал Понтауаз, проехал мимо полицейского участка, спрашивая себя: нужно ли ему туда войти и сообщить о случившемся, добровольно сдать ся и очутиться под стражей. Хотя в данном случае закон был бессилен и его просто приняли бы за сумасшедшего. Так что же ему теперь остается делать — пустить себе

пулю в лоб? Нет, это невозможно, у него никогда не хватит на это силы воли. Сейчас он вынужден признать себе в своей собственной трусости и в том, что страх перед высотой его никак не оправдывал. Причина, конечно же, крылась в его слабости. О, до чего же Мадлен была права! Как хорошо быть животным! Спокойно себе пожевывать травку, пока не свезут на скотобойню!

...Когда он въехал в Париж, было шесть часов. Жевинь, разумеется, в любом случае должен будет выслушать его отчет...

Флавьер остановил машину у кафе на бульваре Малерба. Зайдя вовнутрь, он закрылся в туалете, вытер лицо влажной салфеткой и причесался, затем вышел и направился к телефону. Набрал номер. Незнакомый голос ответил ему, что шефа нет и что, скорее всего, его сегодня уже не будет. Флавьер подошел к бармену и заказал себе рюмку коньяка высшего сорта, и тут же, не отходя от стойки, выпил его. Горе наполняло его душу чем-то похожим на опьянение. Ему казалось, что он перемещается в аквариуме, а лица людей проплывают мимо, словно рыбы. Он выпил и вторую рюмку, время от времени повторяя шепотом: «Мадлен мертва!»

В глубине души эта мысль почему-то не удивляла его, наверное, он всегда был готов к тому, что рано или поздно потеряет ее.

— Гарсон, повторите, пожалуйста!

Однажды он уже ее спас, но мог ли он спасти ее вторично? Нет, его нельзя ни в чем упрекнуть. Даже если бы он сделал попытку ее спасти, то наверняка пришел бы слишком поздно... Уж очень было велико ее желание умереть. Жевинь все-таки ошибся в выборе сопровождающего—вот и все. Ему следовало бы найти какого-нибудь соблазнительного, артистичного, яркого субъекта, а он выбрал посредственного типа, постоянно занятого собой, пленника своего прошлого...

Заплатив по счету, Флавьер вышел. Господи, до чего же он устал! Сев в машину, он медленно поехал к площади Этуаль. Его пальцы иногда задумчиво ощупывали руль, который еще, казалось, хранил тепло ее рук. Он завидовал ясновидцам, которые от простого соприкосновения с носовым платком или конвертом способны прочесть самые потаенные мысли. Как ему сей-

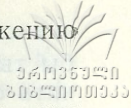
час хотелось знать, что же все-таки мучило Мадлен или скорее даже просто разгадать секрет ее безразличия к жизни? Она покинула жизнь без всяких колебаний и упала на землю, раскинув руки, словно хотела крепче прижаться к ней, полностью с ней слиться. Она вовсе не убегала, а лишь возвращалась к чему-то. Ему казалось, что она вдруг скрылась от него как бы через запасной выход. Ему, наверное, не следовало пить. Свистящий в ушах ветер мешал мысли в его голове, и они разлетались, словно клочки разорванного письма. Свернув на авеню Клебер, Флавьер припарковал машину за огромной машиной Жевиня. Он уже больше не боялся Жевиня, он имел с ним дело в последний раз.

Флавьер поднялся по помпезной лестнице белого мрамора, покрытой красным ковром. Табличка с именем Жевиня висела на двухстворчатой двери. Позвонив, Флавьер снял шляпу и, прежде чем дверь успела открыться, принял скорбный вид.

— Я бы хотел видеть месье Жевиня... Передайте, что пришел метр Флавьер.

Наконец-то он в квартире Мадлен!.. Взгляд его, скользивший по мебели, безделушкам, обоям, как бы мысленно прощался с ней. Висящие в гостиной картины поразили его своим странным видом. Они представляли собой почти всех существующих на земле животных: единорогов, лебедей, райских птиц и напоминали чем-то Руссо. Подойдя ближе, Флавьер прочел: «**Мад. Жев.**» Быть может, это обитатели иной страны? Где она увидела этот черный пруд, эти кувшинки, похожие на наполненные ядом кубки? Что это за лес стоит на страже в доспехах из стволов и лиан? Над камином висел портрет молодой женщины, хрупкую шею которой украшало желтое кольцо — это была Полина Лажерлак. Прическа такая же, как у Мадлен. Элегантное и взволнованное лицо Полины выражало какую-то отрешенность — и в то же время некую измученность и изнуренность, словно она натолкнулась на какое-то одной лишь ей известное препятствие. Сбитый с толку Флавьер рассматривал картину, как вдруг за его спиной распахнулась дверь.

— Ну, наконец-то! — воскликнул Жевинь.



2022010033

Флавьер, противясь такому бурному выражению чувств, неожиданно спросил:

— Она здесь?

— То есть как?.. Это ты ведь должен знать, где она.

Флавьер устало опустился в кресло. Ему не нужно было прилагать усилий, чтобы казаться удрученным.

— Я не встретился с ней сегодня, — пробормотал он. — До четырех часов я прождал ее на площади Этуаль... а затем пошел в гостиницу на улицу Сен-Пер, от туда на кладбище Пасси... И вот только что вернулся. Если ее здесь нет, тогда...

Он посмотрел на Жевиня: тот смертельно побледнел, глаза вылезли из орбит, а рот приоткрылся, словно у человека, которого душат.

— Но... нет... — запинаясь, пробормотал он. — Нет, Роже... ты не можешь...

Флавьер развел руками:

— Повторяю тебе, что я повсюду искал ее.

— Это невозможно, — прокричал Жевинь. — Ты отдаешь себе отчет в том, что...

Крепко сжав руки в кулаки, он затопал по ковру и в конце концов упал на край дивана.

— Необходимо срочно разыскать ее, — сказал он. — И причем немедленно! Немедленно!.. Я не перенесу...

Он начал стучать кулаками по подлокотнику, и в его жесте было столько бешенства, боли и грубости, что Флавьер, словно заразившись от него, тоже вспылil:

— Если женщина хочет сбежать, — злобно бросил он, — то ей помешать очень трудно.

— Сбежать! Сбежать! Как будто Мадлен из тех женщин, которые сбегают! О, как бы мне хотелось, чтобы она была именно такой. Но она наверняка сейчас уже...

Встав, он опрокинул журнальный столик и подошел к стене, оперся о нее, сгорбив плечи, словно борец в стойке.

— Что делают в таких случаях? — спросил он. — Ты ведь должен знать. Нужно сообщить в полицию, да?.. О господи! Да скажи же ты что-нибудь!

— Нас просто высмеют, — пробурчал Флавьер. — Если бы твоя жена не появлялась дома два-три дня, тогда совсем другое дело...

— Ну а ты, Роже, они ведь тебя знают... Вот если бы ты сказал, что Мадлен уже хотела однажды покончить с собой... а ты ей помешал... и что, возможно, сегодня она решила повторить свою попытку... тебе ведь они поверят...

— Прежде всего успокойся, — еще ведь ничего неизвестно, — раздраженно сказал Флавьер. — К ужину она, несомненно, вернется домой.

— Ну, а если она не вернется?

— Ну, в таком случае, в полицию следует идти не мне.

— Короче говоря, ты умываешь руки?

— Вовсе нет... Просто обычно... В общем, постарайся понять... Мужья в таких случаях должны сами обращаться в комиссариат.

— Хорошо... тогда я пойду.

— Но это же глупо! И в любом случае там никто и пальцем не пошевелит. Они просто запишут ее приметы, пообещают тебе сделать все возможное, а сами станут выжидать, как развернутся события. Обычно так и бывает.

— Пока они будут выжидать, — проворчал он, — я точно рехнусь.

Сделав несколько шагов, он остановился перед стоящим на камине букетом роз и с угрюмым видом принялся его разглядывать.

— Мне необходимо идти домой, — нарушил молчание Флавьер.

Жевинь даже бровью не повел: он смотрел на цветы, а на его щеке билась какая-то жилка.

— На твоем месте, — продолжил Флавьер, — я все же не слишком бы переживал. Сейчас еще нет и семи — она вполне могла задержаться в каком-нибудь магазине или встретить кого-нибудь.

— Ну, разумеется, тебе на все на это глубоко наплевать, — ответил Жевинь.

— Ну что ты себе вообразил!.. Предположим даже, что она сбежала... Но ведь далеко она не сбежит.

Флавьер стоял посреди гостиной. Он принялся терпеливо разъяснять Жевиню, какими средствами располагает полиция для поимки беглецов. Несмотря на крайнюю усталость, он до того вошел в раж, что ему самому вдруг показалось, что Мадлен действительно сбежала;

1935940
210-1110333

в то же время им постепенно овладевало желание лечь на ковер и завять от собственного отчаяния. Но Жевинь по-прежнему оставался неподвижен и, казалось, мечтал перед букетом цветов.

— Позвонишь мне, как только она вернется. — Сказав это, Флавьер направился к двери. Не в силах совладать со своим выражением лица, он боялся, что его выдадут глаза. Он чувствовал, что истина вот-вот вырвется из него, и он закричит: «Она мертва!» — и рухнет на пол.

— Останься, — прошептал Жевинь.

— Я бы с удовольствием, старина... Но если бы ты только знал, сколько у меня работы... У меня на столе десятки дел!

— Ну останься... — умолял Жевинь... Я не хочу оставаться один, когда мне ее привезут.

— Ну что ты, Поль! Скажешь такое... Это сущий бред!

Неподвижность Жевиня вселяла ужас.

— Ты останешься здесь, — сказал он. — Объяснишь им... Скажешь, что мы оба боролись за ее жизнь...

— Да, конечно... Но поверь мне, что ее никто тебе не привезет, она сама придет. — Голос Флавьера дрогнул. Чтобы выиграть время, он поднес ко рту носовой платок, откашлялся и высморкался.

— Ладно, Поль... Все будет хорошо... Позвони мне.

Он остановился и, положив руку на ручку двери, оглянулся. Жевинь, уронив голову на грудь, находился в оцепенении. Выйдя, Флавьер осторожно прикрыл за собой дверь. Через прихожую он прошел на цыпочках. Его тошнило от отвращения, и вместе с тем он чувствовал облегчение от того, что самое трудное осталось позади. Итак, дела Мадлен больше не существует. А вот что касается горя Жевиня... Но разве он сам не страдал еще больше?

Захлопывая дверцу машины, Флавьер вынужден был признаться, что с самого начала знакомства с Мадлен он чувствовал себя ее подлинным мужем, а Жевинь представлялся ему всего лишь жалким узурпатором. Какой же дурак станет приносить себя в жертву узурпатору и пойдет рассказывать своим бывшим коллегам, что позволил любимой женщине покончить с собой лишь потому, что у него самого не хватило смелости...

Да ведь никто не позволит вторично ставить под сомнение свою честь ради человека, который... Нет! Будет! Тишина и спокойствие! Клиент из Орлеана — прекрасный предлог для того, чтобы уехать из Парижа...

Флавьер уже не помнил, как поставил свою машину в гараж. Теперь он шел наугад вдоль какой-то улицы, на которую накатывалась ночь, очень синяя и очень грустная, настоящая военная ночь. Все начало смешиваться, потушив все огни. Молчаливый город медленно скатывался к ночи. Ему встречались почти пустынные площади, тишина которых рвала сердце, кричала болью и зловеще намекала на близкую смерть. Войдя в небольшой ресторанчик на улице Сент-Оноре, Флавьер выбрал стоящий в глубине столик.

— Вам комплекс или по меню? — спросил официант.

— Комплекс.

Нужно было поесть, нужно было продолжать жить, как и прежде. Флавьер опустил руку в карман, нащупал зажигалку. На белой скатерти стола перед ним нечетко вырисовался образ Мадлен. «Она не любила меня, — подумал он с горечью. — Она не любила никого».

Он механически проглотил суп, отрешенный от всего, словно аскет. Он будет жить бедняком, погрузившись в свой траур, подвергая себя тяжким испытаниям, дабы сполна искупить свою вину. Ему захотелось купить кнут, чтобы стегать себя каждый вечер.

— Немцы прорвались под Льежем, — сообщил ему официант. — Похоже, бельгийцы начнут драпать, как в четырнадцатом году.

— Сплетни, — ответил ему Флавьер.

Льеж находился очень далеко, на самом верху карты. И Флавьера это несколько не волновало. Война была всего лишь эпизодом в той войне, которая грызла его изнутри.

— А возле площади Конкорд видели машину, изрешеченную, словно дуршлаг? — доверительно продолжал официант.

— Принесите мне следующее блюдо, — попросил Флавьер.

Его никак не хотели оставить в покое. Значит, бельгийцы! А почему не голландцы?! Кретин! Он поторо-

20150320
20150320

пился съесть мясо. Оно было жестким, однако Флавьер не стал возмущаться, потому что твердо решил больше ни на что не жаловаться и полностью погрузиться в постигшее его несчастье, чтобы помучить себя и получить от этого садистское удовольствие. Однако на десерт он выпил еще две рюмки коньяку, и его мысли постепенно прояснились, туман, который, казалось, обволакивал его уже не один день, рассеялся. Щелкнув зажигалкой, Флавьер закурил, и ему показалось, что он вдыхает дым с витавшим в нем образом Мадлен. Задерживая этот дым, он наслаждался им. Стало ясно, что Мадлен до своего замужества не совершила ничего плохого. Предполагать обратное было бы попросту глупо, и Жевинь не женился бы на ней, предварительно не наведя справок. Итак, все началось в начале февраля. Нет, из этого лабиринта мыслей совершенно невозможно было найти выход... Флавьер нажал на кнопку зажигалки и какое-то время смотрел на огонек, прежде чем потушить его. Металл в его руке нагрелся. Да, причины, побудившие Мадлен к такому поступку, были далеко не простыми. А он их не понял и оставался все таким же грубым, не способным абстрагироваться от своих «почему» да «как». Но все же он рано или поздно поднесет это красное пламя вплотную к своему рассудку, очистится и сможет в один прекрасный день постичь тайну Полины Лажерлак. У него-таки наступит момент озарения. Он представил себя монахом, стоящим на коленях в своей келье, однако на стене висело не распятие, а фотография Мадлен, та самая, которая стояла на столе у Жевинья... Потерев веки и лоб, Флавьер попросил счет. Черт возьми! А не много ли они хотят за обычный ужин?.. Ладно, никаких упреков!

Когда он вышел, уже наступила ночь. Флавьер все никак не мог решиться вернуться домой. Он опасался телефонного звонка, который сообщит ему о том, что труп обнаружен. Он шел наугад, как в бреду, словно должен был до самого рассвета продолжать это скорбное бдение. Это стало для него вопросом чести, а может быть, и более того... Мадлен, находящаяся где-то там, наверное нуждается в сострадании. Моя маленькая бедная Эвридика! У Флавьера на глаза навернулись слезы. Ему захотелось представить себе небытие, чтобы попытаться соединиться там с ней, по крайней мере хотя бы

на эту ночь. В воображении ему удалось представить себе лишь мрачный некрополь, похожий на этот темный город. Скользили тени и терялись в глубине улиц. А река, несущая воды вдоль берегов, не имела более имени. Как хорошо было блуждать в этих потемках! Земля живых находилась отсюда далеко, здесь же находились лишь усопшие — одинокие существа, терзаемые мыслями о былом бытие. Они уходили и приходили, и каждый думал о каком-то прошедшем счастье. Видно было, как одни останавливались, склонялись к воде, другие же беспричинно торопились. Наверное, все они готовились к Судному дню. А о чем ему рассказывал только что официант? «Они прорвались под Льежем...»

Присев на скамейку, Флавьер задумался. Завтра он уедет отсюда... У него закружилась голова, он закрыл глаза, успев при этом подумать: «Ты спишь, негодяй!» С открытым ртом он походил на спящего клошара за перегородкой полицейского участка. Спустя пару часов он проснулся от холода — судорога свела ему ногу, и он застонал, как в любовном экстазе. Ковыляя, он побрел прочь, дрожа от холода.

В первых лучах солнца уже вырисовывались силуэты каменных холмов, их покатости и неровности, странные очертания дымоходных труб. Флавьер зашел в только что открывшееся кафе. Радио сообщало, что положение на фронте пока неясно и что для прикрытия брешей были задействованы пехотные части. Съев два рогалика, предварительно обмакнув их в кофе, он вернулся домой.

Не успел он переступить порог квартиры, как раздался телефонный звонок.

— Алло, это ты, Роже?

— Да.

— Ты знаешь, я был-таки прав... она покончила с собой.

В эту минуту следовало помолчать, ожидая продолжения. Но Флавьер чувствовал себя как-то неловко из-за доносившегося из трубки прерывистого дыхания.

— Мне сообщили об этом вчера вечером, — продолжил Жевинь. — Одна старушка нашла ее у подножия церкви Сен-Николя...

— Сен-Николя? — переспросил Флавьер. — А где это?

— Севернее Манта... В небольшой деревушке между Сайи и Дрокуром. Это просто невероятно!

— А как же она там очутилась?

— Погоди... ты еще не знаешь самого страшного. Она бросилась вниз с колокольни и упала на кладбище. Тело сначала доставили в мантскую больницу.

— Бедняга, — пробормотал Флавьер. — Ты сейчас туда едешь?

— Я только что оттуда вернулся. Как ты понимаешь, я выехал туда немедленно, как только узнал о случившемся. Правда, я пытался до тебя дозвониться, но тебя не оказалось дома. Я только что вернулся, правда, сейчас мне нужно отлучиться по делам. А полиция начала следствие.

— Это вполне естественно, они так всегда поступают, однако в данном случае самоубийство налицо.

— Да, но совершенно непонятно, почему она поехала именно туда и выбрала именно эту колокольню. А мне не хотелось бы рассказывать им, что Мадлен...

— Не беспокойся, так далеко следствие не пойдет...

— Кто знает. Мне бы очень хотелось, чтобы ты в случае чего был рядом.

— Пока это невозможно. Я веду одно очень серьезное дело в Орлеане и не могу бесконечно откладывать его. Но как только я вернусь, я тут же заскочу к тебе.

— Ты уезжаешь надолго?

— Нет, всего лишь на несколько дней. Впрочем, я уже ничем не могу тебе помочь.

— Я позвоню тебе. Мне бы еще хотелось, чтобы ты присутствовал на похоронах.

— Бедняга Поль... — искренне сказал Флавьер. — Бедняга Поль! — А затем, понизив голос, он добавил: — А она не слишком?

— Да ты что, она же вся искалеченная!.. Вот только лицо не пострадало. Ее бедное лицо...

— Мужайся! Я скорблю вместе с тобой.

С этими словами он повесил трубку, а затем, держась за стену, добрался до кровати. «Вместе с тобой... вместе с тобой... вместе с тобой...» И тут же провалился в глубокое забытие.

На следующий день Флавьер уехал в Орлеан — первым же поездом, сесть за руль своего автомобиля он не отважился. Новости с фронта были далеко не уте-

шительными, газеты пестрили заголовками: «Немецкое наступление сдерживается. Под Льежем идут упорные бои». Однако сведения были туманными, сдержанными, а оптимизм людей уже начал подтачивать червь сомнения. Флавьер задремал в углу купе. Вид у него был безупречный, хотя чувствовал он себя каким-то разрушенным, развалившимся, почерневшим, словно от пожара. Он превратился в развалины, вокруг которых стояли четыре стены. Эта картина питала его боль и делала ее еще невыносимее.

Приехав в Орлеан, Флавьер снял номер в гостинице, расположенной напротив вокзала. Когда он спустился вниз за сигаретами, то увидел первую машину с беженцами — огромный «Бьюик», груженный узлами, весь в пыли.

Флавьер посетил своего клиента, однако их беседа крутилась в основном вокруг войны. Во Дворце Правосудия поговаривали, что армия маршала Коррапа отступает, и все проклинали бельгийцев за трусость. Вспоминали также о пушке Марна, выстрелы которой в течение трех дней озаряли горизонт. Флавьеру нравилось в Орлеане. По вечерам он гулял по набережным, наблюдая за проносящимися над самой водой ласточками. Радио практически не выключалось и работало во всех квартирах. Сидящие на террасах кафе люди, казалось, были поражены одной и той же болезнью; лето полностью завладело небом над Луарой, удлиняло сумерки, прелесть которых волновала несказанно. Что же происходит сейчас в Париже? Похоронили ли уже Мадлен? Уехал ли Жевинь в Гавр? Флавьер иногда задавал себе эти вопросы осторожно, словно выздоравливающий больной, заглядывающий под повязки, желая рассмотреть свою рану. Страшные душевные конвульсии уступили место зябкому оцепенению, перемежающемуся с подрагиванием и спазмами. К счастью, война немного отвлекала его. Теперь стало известно, что немецкие части рвутся к Аррасу и что судьба страны находится на чаше весов. Ежедневно через город следовали все новые и новые машины, направляющиеся к югу. На беженцев смотрели молча, с опустошенными душами. Те приезжали все более и более грязные и несчастные, а Флавьер повсюду видел отображение собственного горя. У него не хватало сил вернуться домой.

311935941
1110933

Однажды совершенно случайно ему попалась на глаза газетная заметка. Попивая кофе, он рассеянно просматривал газету и заметил на четвертой странице, привлекавшей его внимание, заголовок, гласивший, что полиция ведет расследование по делу о самоубийстве Мадлен Жевинь и взяла показания у месье Жевиня. И хотя эта заметка была неуместной после новостей первой страницы, Флавьер решил внимательно прочесть ее. Так и есть, полиция, похоже, отвергла гипотезу о самоубийстве. Вот, значит, чем они там занимаются, эти полицейские, в то время, как целые толпы беженцев заполняют дороги! Но он-то прекрасно знает, что Жевинь ни в чем не виноват. Как только положение изменится в лучшую сторону, он сразу же поедет туда и заявит им об этом. Но не сейчас, когда поезда стали ходить нерегулярно...

Шли дни, и газеты уже все свои полосы отдавали под описания беспорядочных битв, опустошавших равнины на севере страны. Никто уже не знал и не понимал, где немцы, где французы, где англичане, а где бельгийцы. Флавьер все реже вспоминал о Жевине, однако все же обещал себе, что при первой возможности восстановит истину. Это решение придавало ему уверенности в самом себе и позволило больше уделять времени общим переживаниям. Бывая в соборах, на мессах в честь Жанны д'Арк, он молился за Францию и за Мадлен. Он уже не отделял свое собственное несчастье от несчастья всей нации. Франция представлялась ему разможенной, кровоточащей Мадлен...

Прошло некоторое время, и вот однажды утром орлеанцы тоже стали грузить машины матрацами и разным домашним скарбом. Исчез и клиент Флавьера. «Раз вас тут уже ничего больше не задерживает, то вам тоже лучше было бы поехать на юг», — советовали Флавьеру. В одно из мгновений, когда, казалось, храбрость и отвага посетили его, он решил позвонить Жевиню. Однако никто ему не ответил. Охваченный ужасом, Флавьер поспешил сесть в автобус, направляющийся в сторону Тулузы. В тот момент он еще не знал, что уезжает на целых четыре года.

Продолжение следует

Перевод с французского Алексея ДРОЗДОВСКОГО



К трагическим событиям 9 апреля в Тбилиси

Из почты Союза писателей Грузии

Тбилиси, ул. Мачабели, 13, Союз писателей Грузии

Дорогие братья — грузинские писатели! Мы, члены московского комитета писателей в поддержку перестройки «Апрель» — с Вами в скорби Вашей.

Грузия всегда была второй колыбелью русской поэзии. У нас, в эти дни грузинского национального горя, такое чувство, будто веревку этой колыбели пересекли саперной лопаткой, а саму колыбель переехали танковыми гусеницами, забрызгали ее сначала химическим ядом, а потом кровью невинных. Кровь народа — негодный раствор для здания дружбы народов. Осуждая любой экстремизм, мы осуждаем и экстремизм государственный. Голос общественности уже возывал о недопустимости насилия в Белоруссии, когда против белорусских людей, пришедших помянуть погибших во времена сталинских репрессий, применялись дубинки и слезоточивые газы. Однако этому голосу не вняли. Сейчас нечто подобное, хотя совсем по другому поводу и совсем в иных, более устрашающих масштабах: жертвы есть, а виновных как бы нет. Может быть, безнаказанность относительно бескровного, но все-таки отвратительного насилия в Белоруссии и позволила произойти кровавому бессмысленному насилию в Тбилиси? Безнаказанность насилия заманчиво заразительна, как долго не вытравляемый из организма вирус жестокости. Мы против насилия, на какое бывает подчас способна потерявшая над собой контроль толпа, но и против политического насилия, на которое преступными приказами иногда толкают не только спецчасти, но и армию. Должна быть твердо проведена законодательная грань между допустимостью и недопустимостью поведения и толпы, и сил правопорядка. Мы — за порядок, но не за порядок ценою крови. Порядок ценою крови есть нравственный беспорядок, чреватый непредсказуемой цепной реакцией, которая ведет к новой крови. Надо уметь убеждать и переубеждать без танков, не бронированными, не огнестрельными, не химическими, а нравственными аргументами. Наука нравственного переубеждения немислима без

16 09 53 20
010-7170933

мужества терпимости, без колоссальной выдержки. Брак перестройки с танком вопиющ и неестествен — от него не может быть нормальных детей. Мы требуем скрупулезного установления, кто был виновен в отданном бессмысленно жестоком приказе, в его бессмысленно жестоком исполнении? Наказание, наконец, должно последовать, чтобы никому впредь было неповадно поднимать руку на невинных. Мы не должны позволить, чтобы какая бы то ни было улица нашей страны становилась одноименной с проспектом Руставели, где безутешным родителям снова придется класть траурные цветы.

По поручению комитета писателей в поддержку перестройки «Апрель» — председатель Совета по грузинской литературе СП СССР Евтушенко.

Далее следуют подписи более 600 московских писателей — членов московского комитета писателей в поддержку перестройки «Апрель» (все — члены СП СССР), на собрании которых было также зачитано и поддержано обращение общественности Москвы к народным депутатам, Генеральному прокурору СССР, правительству и партии, принятое на митинге у Грузинского центра 16 апреля 1989 г.

Обращение общественности Москвы к народным депутатам, Генеральному прокурору СССР, правительству, партии

9 апреля нынешнего года на территории нашей страны произошло событие, ставящее под сомнение существование цивилизации не в меньшей мере, чем авария в Чернобыле.

Восруженные мужчины ночью, на площади крупного города, под защитой танков и бронемашин, убили не менее полутора десятка девочек-подростков, молодых женщин, а заодно врача — пожилую женщину и еще несколько человек. Факт убийства подтверждают очевидцы. Очевидцы также сообщают, что группа подростков была расстреляна баллонами с сильно действующим отравляющим веществом, противоядие от которого в гражданской медицине неизвестно. На просьбу врачей сообщить секрет для спасения умирающих из Москвы ответили: «Военная тайна». (Это сообщение, разумеется, требует проверки.)

Девочек, сидевших на ступенях лестницы перед Домом правительства, убивали, как крыс. Убийцы сопровождали эту бойню нецензурной бранью и криками: «Свободы захотели?!»

Массовый бандитский акт сам по себе не может не вызвать тяжелого шока у любого нормального гражданина, независимо от

взглядов и убеждений. Но особенно страшным и непостижимым является то, что этот уголовный акт был совершен на основании военного приказа людьми, находящимися на военной службе армии или во внутренних войсках.

Спецвойска были брошены против девушек, против женщин. Какая армия в мире и когда могла позволить себе такое?

Мы не знаем, кто отдал приказ. Мы знаем другое. Уголовные методы в политике были применены и доведены до массовых масштабов режимом сталинизма. Но тогда это совершалось за стенами Лубянок и проволокой лагерей. Ныне, когда сталинизм разоблачен и в стране провозглашено правовое государство, провокационные силы вывели уголовщину в военной форме на улицы наших городов.

Событие в Тбилиси не единично. Начало подобным расправам было положено в Москве, когда 21 августа прошлого года силы «специального назначения» зверски избили и покалечили людей, выразивших всего лишь намерение провести мирный митинг. То же самое произошло в Алапаевске. Зверства были продолжены в Звартноце, где калечили мирных пассажиров аэропорта, в Минске, где люди вышли поклониться памяти жертв репрессий сталинизма.

Мы не знаем, кто отдал приказ об убийствах в Тбилиси. Но мы хорошо и давно знаем, что такое неизбежно должно было случиться после того, как Президиумом Верховного Совета были приняты указы о войсках спецназначения. Общественность Москвы, как и других городов, предупреждала о возможности подобных последствий этих указов. Тысяча граждан, включая авторитетных юристов, выступали, подписывали обращения к власти с требованием изменения этих антиконституционных, бесчеловечных указов о спецвойсках — кто бы ни выступал в их роли. Сегодня те, кто составлял и принимал эти указы, не могут заявить, что не ведали о последствиях, что виноваты «стрелочники». Непосредственные виновники, те, кто убивал, должны понести уголовную ответственность, но те, кто способствовал созданию возможности этого преступления, должны понести ответственность политическую.

Мы требуем:

1) немедленной отмены указов, дающих неограниченные возможности расправы с мирным населением войсками спецназначения. Они должны быть отменены так же срочно, как были приняты.

2) публично огласить результаты работы правительственной комиссии, созданной для расследования обстоятельств убийств в

Тбилиси и других местах. Сделать достоянием гласности роль спецвойск и вообще войск в этих событиях. Ввести в комиссию народных депутатов и других представителей общественности не только Тбилиси, но и Москвы.

3) гласного, публичного обсуждения, в том числе и на съезде народных депутатов, призванного установить, кто несет политическую ответственность за воспитание в военных и спецчастях подобной варварской «этики» и кто ответствен за применение войск (частей) без подлинной необходимости и способом, подобным тому, каким они действовали в Тбилиси.

Данное обращение зачитано на митинге общественности Москвы 16 апреля 1989 года у Грузинского центра на ул. Старый Арбат. Митинг проведен по инициативе клубов «Московская трибуна», «Демократическая перестройка», «Московский народный фронт» и др. На митинге, на котором присутствовало несколько сот человек, выступили академик А. Сахаров, поэт А. Вознесенский, писатель Ю. Карякин, философ и публицист В. Чаликова и др.

Обращение единодушно поддержано 19 апреля собранием членов писательского движения «Апрель».



Роман МИМИНОШВИЛИ

Интернациональное без национального, или „интер“ без функций

Книга приносит добро. С этой надеждой мы и берем ее в руки. Но не все может прочесть человек. Одни книги не попадают в сферу наших интересов, другие не соответствуют нашим вкусам, однако нам известно, что и они принесут пользу кому-то. Есть книги, с которыми мы не согласны, они вызывают наш протест. И тогда мы громогласно заявляем об этом и спорим с автором или же просто откладываем книгу в сторону...

Книга, заставившая меня взяться за перо, ни к одной из этих категорий не относится. По моему мнению, она никому не принесет добра. Но это и не такое издание, чтобы на него вообще не обращать внимания, или же удовлетвориться обыкновенными замечаниями. Его единственное достоинство в том, что оно заставляет задуматься над важнейшими проблемами нашей жизни и в ряде случаев вынуждает сделать правильные выводы, как говорится, от обратного. Короче, книгу эту следует читать перед зеркалом, чтобы левая сторона показалась правой и таким образом прийти к правильному заключению. Я не собираюсь писать рецензию. Просто хочется выполнить для читателя роль зеркала. Следовать же за положениями книги буду только, чтобы высказать свое мнение по жизненно важным вопросам для нашей страны, которые, правда, в превратном виде,

но последовательно изложены ее авторами. Издана она 100-тысячным тиражом в Москве в 1988 году. Ее авторы — Э. В. Баграмов, Ж. Г. Голотвин, Э. В. Тадевосян. Название сформулировано следующим образом: «Актуальные проблемы развития межнациональных отношений, интернационального и патриотического воспитания». Вот, пожалуй, на мой взгляд, все то положительное, что можно сказать об этой книге...

Чтобы изучить межнациональные отношения, надо знать — что такое нация. Авторы и не пытаются исследовать этот вопрос, так как уверены: читатель уже знает, что это такое, во всяком случае, он должен знать, как определил понятие нации И. В. Сталин в своей знаменитой работе «Марксизм и национальный вопрос», которой сам В. И. Ленин дал высокую оценку. Ясно, что авторы не ссылаются на Сталина, это нынче не принято, но безоговорочно разделяют его мнение. Для них приемлемо положение о том, что основными признаками нации являются язык, территория, культура, психический склад. С этим положением может быть и нам нет повода спорить, тем более, что в этой работе И. Сталин не отходил от учения К. Маркса и В. Ленина. Спорным может оказаться другое. «Для рабовладельческого и феодального общества, — читаем в книге, — характерна народность, в основе которой лежат уже социальные и территориальные связи людей; типичной для капитализма является нация как историческая форма общности людей, решающую роль в которой играют экономические факторы и отношения» (с. 12). И дальше: «Итак, нация — это историческая общность людей периода становления и развития капитализма (капиталистический тип нации) или социализма (социалистический тип нации)» (с. 15).

Не соглашаться с авторами по поводу вышеприведенного положения нет смысла, они просто повторяют укоренившееся в наших общественных науках мнение, хотя в книге, специально посвященной этим вопросам, оно звучит как догма, поскольку в ней нет даже попытки доказать его. В частности, не видно, какая разница между нацией и народностью, что принципиально меняет в этих понятиях новая формация — капитализм по сравнению с прежними формациями — феодализмом и рабовладельческим строем, чтобы превратить народность в нацию? Если нация для капитализма — это «историческая форма» или «историческая общность», как на то указывают авторы, то получается, что ее создавал не капитализм, она и до него существовала исторически, он лишь принял ее в наследство, а не превращал народность в нацию. Такая двусмысленность прису-

ща всей книге и не следует удивляться, что авторы ни на шаг не уступают своей позиции: невелика беда, если нам их формулировка не понравится, ведь тут же, в той же формулировке сокрыта и совершенно противоположная мысль! Неужели, в античную эпоху, когда была создана великая эллинская культура, греческой нации не существовало? И она была создана лишь в XIX веке, после освобождения от турецкого ига на основе обломков почти забытой древней культуры? Известно не только национальное самосознание древних греков, но и их шовинизм, их высокомерное отношение ко всему негреческому; всех негреков древние эллины презрительно называли «варварами». Неужели в эпоху Давида Строителя и царицы Тамар, если не гораздо раньше, не существовало грузинской нации, обладающей всеми «сталинскими» признаками (языком, территорией, культурой, психическим складом...) и она «возникла» в период господства царизма? Ведь только к концу XIX века нарождается в Грузии капитализм, собственно, и Грузией-то не называли Тифлисскую и Кутаисскую губернии «создатели грузинской нации» — русские чиновники? Царизм все делал не для консолидации грузинской нации, а для ее раздробления на мелкие части, следуя девизу «Divide et impera», отдельными народами объявлялись даже такие малочисленные грузинские племена, как пшавы и хевсуры. Настолько живучим оказалось это «мнение» великодержавных царских чиновников, что даже сегодня некоторые советские журналисты и писатели никак не хотят мириться с тем, что не существуют (и никогда не существовали) аджарский язык, мегрельский и сванский народы. Так неужели же грузинская нация создавалась в таких условиях, как царский колониальный режим?

Положение о создании нации в эпоху капитализма имеет практическое значение для наций, входящих в состав СССР. Из него следует, что на нашей территории не существовало ни одной нации, пока миссию их создания история не возложила на Россию; поэтому все народы в этом смысле должны быть благодарны даже царизму, ибо без него они не могли бы считаться нациями!

Нелепость такого утверждения очевидна для всех, кроме, может быть, авторов данной книги. Не мог этого не чувствовать и Сталин, однако для него политика была выше истины, политика, исключаяющая не только самостийность, но и всякую самостоятельность в национальном сознании.

Авторы книги предупреждают, что, рассуждая иначе, мы

рискуем очутиться в лагере буржуазных социологов и политологов: «Представителям современной буржуазной социологии и политологии присуща тенденция к биологизации и психологизации нации... Этм же целям служит выпячивание, преувеличение значения этнических моментов (язык, территория, особенности культуры, психологии, обычаи, традиции и т. д.) в формировании, функционировании и развитии национальных общностей людей. Они, несомненно, играют немаловажную роль, благодаря чему нация или народность существенно отличается от других общностей, в том числе и от социально-классовых (классы, социальные слои, социальные группы и др.). Но нельзя не видеть, что социальные факторы определяют сущность и основное содержание национальных явлений и процессов, в то время как этнические факторы — преимущественно их форму» (с. 13—14).

Благодатный, могучий русский язык! Авторы не могут сказать, что этнические моменты не имеют значения, но они не хотят сказать, что эти моменты значительны. Как хорошо, что существует прекрасное русское слово — «немаловажная»! Ничего не скажешь, авторы владеют русским языком, но знают ли они, что реально означает «нация»? Вряд ли.


Если сущность и содержание нации определяют социальные факторы, то надо признать, что в современном мире существуют лишь две нации — капиталистическая и социалистическая. Причем нет единой немецкой нации, жители ГДР — это одна нация, а ФРГ — совершенно другая, «противоположная»! Нациям, если верить авторам книги, остается только форма, лишенная и содержания и сущности. Надо полагать, есть японская, испанская и армянская «формы»...

Стараясь укрепить свои позиции, они пугают нас авторитетом классиков марксизма: «И Маркс, и Энгельс, и Ленин постоянно требовали никогда не забывать о классовой раздвоенности наций буржуазного общества, видеть, что в каждой такой нации есть «две нации» — нация угнетенных и нация угнетателей» (с. 14). Выходит, что капитализм создавал не нации, а в каждой нации по крайней мере — по две нации. Однако, в данном случае классики марксизма никакого отношения к нашему вопросу не имеют. Они нас только предупреждают, что понятие нации не означает всеобъемлющей гармонии; поскольку в каждой нации существуют антагонистические классы, невозможно достичь полной национальной консолидации. В нации нет двух наций, а лишь действуют две противоположные силы. О чем свидетельствует хотя бы слово «раздвоенность»,

которое употребляют сами авторы. Раздвоенность чего? Чего-то целого? Да, так и есть, в буржуазном обществе происходит раздвоение единой нации по классовым признакам. А иначе что получается — в эпоху социализма вместе с уничтожением классового антагонизма должны были исчезнуть и «две нации», ибо уже нет ни угнетенных, ни угнетателей. Что же остается от понятия «нация»? Уже нет ни сущности, ни содержания и осталась только форма? Но, позвольте, форма чего? Форма без сущности и без содержания? Или все же остались этнические элементы, значение которых, увы, преувеличивают буржуазные социологи и политологи? Что тогда можно считать главным — «немаловажные» этнические признаки (язык, территория, культура, обычаи, традиция, психология и др.) или социальные? Неужели грузины 1921 года как граждане буржуазной республики больше походили на французов, нежели на советских грузин 1922 года?

Но, несмотря на все это, наши авторы признают, что в эпоху социализма нация остается нацией (видимо, в каждой нации сейчас одна нация!), сохраняют свое значение ранее существующие национальные признаки — общность экономической жизни, территории, культурных особенностей. По правде говоря, я обрадовался, но моя радость оказалась преждевременной: авторы тут же добавили, что экономическая общность как признак нации проявляется не в существовании национальной экономики, а в общности экономических «интересов» нации в условиях единого союзного народнохозяйственного комплекса. То есть, что самое главное, нет национальной экономики, существуют лишь «интересы». Нация уже потеряла один из своих признаков... Общность территории нация сохранила, но она пользуется всей территорией Советского Союза и ее территорией пользуются все другие. Стало быть, нация теряет и другой свой признак. Нация сохранила и язык, но она сама тяготеет к общесоюзному языку, сама не прочь потерять еще один признак национальной самостоятельности. Пока остается и национальная культура, но была создана единая союзная культура «как вполне определенное целое». Наряду с национальным характером сформировался общесоюзный характер, «а национальное сознание все больше проникается интернационализмом» (с. 16).

Одним словом, нивелируются, а то и вовсе упраздняются все признаки нации, и авторы такие народы называют социалистической нацией. Больше того, для социализма, по их глубокому убеждению, характерно **подчинение** национальных инте-



ресов интернациональным. Чем меньше национальными особенностями характеризуется республика, тем лучше для социализма: «Для коммунистов — подлинных интернационалистов превыше всего принцип международной солидарности трудящихся... Только ту политику можно считать подлинно интернационалистской, которая отражает национальные интересы, сочетая и, если необходимо, подчиняя их коренным интересам пролетариата» (с. 16).

Если интернационализм не означает чего-либо иного, чем понятие, которое подразумевается под этим латинским словом, то исключено, чтобы он не то что ущемлял, но и в какой-то мере ограничивал национальные интересы. Если не будет наций, то интернационализм теряет всякий смысл, ибо от него останется лишь «интер», который уже не может стоять «между» несуществующими величинами. Поэтому нельзя подчинить национальные интересы интернациональным, можно только свои национальные интересы подчинить интересам другой нации. Или наоборот. Но тогда мы будем иметь дело не с интернационализмом, а с национализмом или шовинизмом. Для такого положения есть четко определенные термины. Подчинение своих интересов интересам другой нации настолько бессмысленно, что даже термина такого нет. И напрасно кажется нашим авторам, что это и есть подлинный интернационализм. Даже то, что одна нация может пожертвовать чем-то ради другой, должно исходить из ее же собственных интересов. Прекрасен интернационализм, когда он основывается на патриотических чувствах, и отвратителен, когда его проповедует человек, начисто лишенный национальных чувств. Он не может быть верен и другой нации, он душой космополит, и лишь носит маску интернационалиста. Такой человек свободно может проповедовать — люби чужую мать больше родной. Мне такая проповедь кажется бранью.

По мнению авторов книги, «капитализм не только породил нации, но и создал национальный вопрос» (с. 17). Вместе с тем он не может решить «им же порожденный национальный вопрос» (с. 5). Писать ложь ничуть не легче, чем говорить правду. Даже искусный лжесвидетель не застрахован от противоречий. Наши авторы могут не верить мне, но вряд ли не поверят В. И. Ленину. Они только могут умолчать, сделать вид, что не знают, как он смотрел на это. Но и того им не удалось сделать, так как они споткнулись о противоположное мнение Владимира Ильича. Вот что они сами пишут в своей книге: «Положение в тогдашней Швейцарии В. И. Ле-

нин рассматривал как «образец решения национального вопроса в буржуазном обществе» (т. 24, с. 392). Примером такого же рода, хотя и иного по форме, он считал и демократическое решение национальной проблемы в результате свободного отделения Норвегии от Швеции в 1905 г. (т. 25, с. 69, 293, т. 30, с. 23)» (с. 20). Так вот.

А для себя отметим: капитализм не порождает ни нацию, ни национальный вопрос. И нация, и национальный вопрос существовали до капитализма и будут существовать, пока живет на земле человечество. Ярким свидетельством тому происходящие сегодня события не только в Средней Азии и Нагорном Карабахе, Прибалтийских республиках, но и пробужденное национальное самосознание на Украине и в Белоруссии. Каждая нация препятствует любому ущемлению национальных особенностей — будь то язык, территория или культура. Этот протест является естественной реакцией на насильственную «интернационализацию» и ассимиляцию. Видимо, когда-нибудь национальный вопрос будет решен с гуманистических, демократических позиций, иными словами, не останется причин для конфликта, но это произойдет лишь в том случае, если каждая нация осознает права других наций и не будет их ущемлять. Возможно, настанет время, когда при наличии нации исчезнет «национальная проблема». Очень сложно все это прогнозировать, но ясно, что человечество должно стремиться к справедливому решению вопроса.

Авторы же книги представляют национальный вопрос слишком упрощенно. По их мнению, национальный вопрос — это не столько этническое явление, сколько «социально-политическое» (с. 17). «Марксизм сделал фундаментальный вывод о том, что уничтожение социального гнета служит условием и предпосылкой уничтожения гнета национального», — доказывают они (с. 18). Не могу с этим согласиться, несмотря на то, что марксизм всегда на первый план выдвигал классовую борьбу и вообще зародился в борьбе за социальную справедливость, а не за национальное освобождение. Поэтому, естественно, для классиков марксизма национальный вопрос был второстепенным. Учитывая реальность, марксизм, конечно, не мог игнорировать то обстоятельство, что мир делится не только на классы, но и на нации, что не способствует, а наоборот, препятствует проведению в жизнь лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Поэтому понятно и то, что значительная часть социал-демократов пришла к национальному нигилизму (рецидивы этого явления, к сожалению, имеют место и в

настоящее время). То, что для марксизма главной является социальная проблема, а не национальная, отнюдь не означает, что сам национальный вопрос является в первую очередь социальным. Этот теоретический постулат отвергает сама практика. Разве освобождение Италии от австрийского ига или Греции — от турецкого вызвало уничтожение эксплуатации трудящихся? Не следует ли учесть в этом плане и независимость Грузии до 1921 года? Свободная Грузия того периода была фактически буржуазной республикой, а Советская власть в Грузии была установлена после того, как страна потеряла независимость и присоединилась к Закавказской федерации, а потом непосредственно к СССР. Получается, что национальная свобода не обуславливает социальной свободы, а, в свою очередь, социальное освобождение не является гарантией национальной свободы.

Авторы могут возразить: что за кощунство, Грузия именно сейчас является свободной с национальной и социальной точки зрения! Я, конечно, испугаюсь и соглашусь... В былые времена мне никто не позволил бы оправдаться, я бы сразу угодил в лагерь буржуазных социологов и политологов. Но ведь я говорю о свободе как о государственной независимости. Разве можно спорить с тем, что республика, входящая в любую федерацию, менее независима, чем отдельное государство? В этом нас скоро убедят и наши авторы, если хватит терпения дочитать эту книгу.

Лучшим решением национального вопроса они считают уничтожение... наций! И объясняют, как это должно происходить, и как, якобы, решается эта проблема в нашей стране — как последовательно происходит стирание национальных особенностей с помощью неуклонного «сближения» наций. Оказывается, и Ленин нас к этому призывал. Но, к счастью, он нигде не говорит об исчезновении наций. Послушаем самих авторов книги, указывающих на его мнение: «Слияние передовых представителей всех национальностей в единых партийных организациях В. И. Ленин еще до революции рассматривал как прообраз пролетарского решения национального вопроса, как начало такого решения» (с. 21). Как партию не представлял себе Ленин бесформенной и безликой массой, в которой личность теряет свою индивидуальность, так и объединение наций одной идеей он не мог представить как их слияние. Правда, в партии после Ленина произошло полное игнорирование личностных начал и такую же деформацию терпели в нашей стране и межнациональные отношения, но тут

уж ничего не поделаешь. В этом не Ленин виноват. Если мы не хотим приписать ему то, что он с самого начала создавал партию, как массу угодников диктатора, то не должны думать и мысли о том, что общность усилий всех наций в совместной борьбе за социальную справедливость он считал слиянием наций.

Авторов книги возмущают слова А. Лоу: «Ленин относился невозмутимо безразлично, даже враждебно, к национальному государству и национальности» (с. 22). Они спорят с ним, доказывая, что классовый подход к национальному вопросу никак не означает его отрицание и приводят ленинские слова о том, что, если буржуазия на первый план выдвигает национальные проблемы, то для пролетариата они подчинены интересам классовой борьбы. Для Ленина как для марксиста главной была классовая борьба, он все делал для этого, иногда даже в ущерб национальным интересам, хотя все же считался с ними и мирился с их существованием. Поэтому и старался объединить борьбу за социальное освобождение с национально-освободительным движением, более того, борьбу национальную подчинить классовой, ввести национальное движение в русло классовой борьбы. Главной целью для него было установление диктатуры пролетариата в бывшей Российской империи, и потом во всем мире, а не отделение Украины, народов Прибалтики или Закавказья от России, их освобождение из «тюрьмы народов». Наоборот, он возражал против такого отделения и даже приложил немалые усилия, чтобы не оказались независимыми от России меньшевистская Грузия, дашнакская Армения и мусаватистский Азербайджан. Не только морально поддержал большевиков Грузии в их борьбе против признанного им же официально правительства республики, но прислал XI армию!

Авторы книги многократно прибегают к внешне безобидному термину «национальная окраина». По отношению к чему она «окраина» и по отношению к кому — «национальная»? Ясно, что центром представляется Россия, и она же выглядит «безнациональной» или «сверхнациональной». Дело не только в нелепости такого сопоставления, и не только в том, что этим подчеркивается вполне реальная и объективная связующая роль России. Главное заключается в другом. Была разрушена Российская империя, имевшая свой центр и «окраину», на ее обломках была создана Советская Россия, имеющая также свой центр и «окраину». Именно поэтому было названо новое государство «**Российской** Советской Социалистической республи-

ликой», которую III съезд Советов в 1918 году признал как «Российскую федерацию». В книге читаем: «В принятой съездом «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и других его документах говорилось, что Советская **Российская** Социалистическая республика учреждается как федерация на основе «свободного союза свободных наций», «на основе добровольного союза **народов России**» (с. 27). Съезд узаконил тот факт, что вновь созданное государство — Россия, а не союз наций, Россия, только федеративная, состоящая из «**народов России**». Вот откуда идет идея «автономизации»! Сталин своим проектом «автономизации» подчеркнул эту идею, принятую съездом Советов в 1918 году и одобренную Лениным. Никому, кроме грузинских «национал-уклонистов», не приходило в голову, что таким образом ущемлялись права наций. Это было естественно, ибо Грузия являлась единственным независимым государством, официально признанным не только рядом других стран, но и Советской Россией и Лениным в 1920 году. И это независимое государство, как считается, против воли официального и вполне конституционного его правительства, но волей трудящегося народа присоединилось к Советской России. В книге об этом нет ничего, кроме невнятного упоминания какого-то инцидента, который произошел в Закавказье, дело представлено так, будто Ленин поймал Сталина на плутовстве прямо за уши. Это отнюдь не было плутовством, а самым серьезным делом, и Ленин должен был это предусмотреть.

Вот что пишут авторы в связи с созданием СССР: «**Ознакомившись** с предложенным И. В. Сталиным и первоначально принятым комиссией ЦК РКП(б) планом объединения независимых республик, основывающемся на идее «автономизации», В. И. Ленин в письме к членам Политбюро от 26 сентября 1922 г. «Об образовании СССР», а позднее, в самом конце этого же года, в работе «К вопросу о национальностях или об «автономизации», подверг серьезной критике идею «автономизации»... В. И. Ленин осудил случаи искривления в Закавказье национальной политики. Людей, которые так ее проводили, он называл «держимордами» и «националистами» (с. 30—31).

Что значит «ознакомившись»? Можно ли предположить, что Ленин был не в курсе намерений Сталина в этом важнейшем вопросе? Как понимать, что Ленин осудил Сталина за спелость решения и администрирования в национальном вопросе? Чем объяснить тот факт, что в период с 1917 по 1922 год у партии не было четкого представления о создаваемом го-

сударстве — будет ли это Советская Россия или Советский Союз? Не означает ли это, что Ленин, возможно, не только в начале, но и впоследствии считал естественным создание единого государства, в котором республики могли пользоваться лишь правами автономических образований, а не государственной независимостью? Во всяком случае, Сталин понял это именно так и, несмотря на то, что его в 1922 году обвинили в **поспешности** принятых решений, в своей последующей практической деятельности максимально ограничил права республик, быть может, полагая, что таким образом он осуществляет идеи Ленина.

Из вышесказанного ясно, что для В. И. Ленина национальный вопрос стоял на втором плане по сравнению с социальными вопросами. Решение такой задачи, как создание СССР он мог поручить одному из своих соратников, даже не проследивая ход ее выполнения. Собственно, так и было бы, поскольку ни одна республика не выразила протеста по проекту «автономизации», кроме Грузии. Более того, некоторые республики этот проект вообще не рассматривали, воспринимая его, видимо, как директивный документ, другие же поддержали. Но руководители ЦК в Грузии заявили бурный протест. Лишь после этого вмешался в дело В. И. Ленин. В результате создание СССР во многом является заслугой грузинских «национал-уклонистов» и их лидера Буду Мдивани. В книге же лишь мимоходом упоминается о каких-то «искривлениях» в Закавказье.

Может быть, исследование вопроса — чем было вызвано создание Закавказской Федерации не входило в задачу авторов книги, но когда они утверждают, что федерация сыграла «важную роль в упрочении Советской власти и решении национального вопроса в Закавказье» (с. 28), невольно возникает желание, чтобы человек, сказавший это, разъяснил — какая была необходимость таким образом объединить три республики и ввести их в виде цельной единицы в состав СССР и как удалось этой федерации за 7—8 лет своего существования решить национальный вопрос? Такой подход свидетельствует о том, что Грузия, Армения и Азербайджан были признаны второстепенными республиками по сравнению с Украиной и Белоруссией, непосредственно вошедшими в состав СССР. Почему?

Кстати, этот весьма темный вопрос (наши историки не пытаются — не хотят или не могут? — осветить его) связан с определенной политической конъюнктурой, с разными дого-

ворами, заключенными и нарушенными Россией (не только царской!) без ведома и воли тех народов, которых это непосредственно касалось. Поэтому мы и не станем требовать от авторов ответа на эти вопросы и надеемся, что читатель не будет ждать этого и от нас. Но декларативное заявление о том, что Закавказская федерация решила национальный вопрос, по меньшей мере, недопустимо. Разве непосредственное вхождение каждой закавказской республики в состав СССР отдельно вызвало бы национальные распри? Может быть, следует поставить вопрос наоборот? Может быть, некоторые национальные конфликты, проявившиеся в последнее время, берут свое начало именно в Закавказской федерации? Других вопросов я не буду касаться, но ясно, что вина за раздел грузинской территории, как собственного имени, целиком ложится на федерацию и ее руководителей. Возьмем хотя бы определение северо-западной границы Грузии именно на той линии, которая была образована после нашествия Деникина в Грузию, отобравшего у республики и город Сочи, но встретившего упорное сопротивление грузинских войск меньшевистского правительства на берегу реки Псоу и прекратившего дальнейшую попытку завоевания всей Грузии для «государя и отечества Российского». Разве заслуживал белогвардейский генерал такой чести от большевиков, что граница Грузии была проведена по следам его великодержавных сапог? Характерно, как разыгрывалась демократия в руководстве Закавказского края по вопросам распределения территории между республиками: «Голосовало два человека, за — один, воздержался — один» и вопрос тут же решился «положительно». Судьбу человека в те времена определяли пресловутые «тройки», а для решения судебных республик достаточно было единоличного мнения. На совести той же Закавказской федерации и кровавая вакханалия 1924 года в Грузии... Вот как «решались» национальные вопросы!

Вообще федерация как форма государственности вызывает у наших авторов благоговейный трепет. Вот что они пишут о советской федерации: «Федерация гармонически сочетала требования интернационального единства и национального суверенитета. В этом было ее огромное преимущество перед конфедерацией, которая дала бы толчок сепаратистским тенденциям, и перед объединением по принципу «автономизации», которое бы нарушало суверенные права республик, имевших традиции государственного существования» (с. 32). В данном случае авторы, видимо, имеют в виду и Грузию, которая за три тысячелетия только 116 лет (с 1801 до 1917 года) не име-

ла «государственного существования». И именно к этому несчастному периоду относят возникновение грузинской нации!

Федерация, безусловно, имеет те преимущества перед конфедерацией и «автономизацией», о которых говорят авторы, но лишь в том случае, если федерация существует для республик и наций, для их благополучия, для их интересов, а не тогда, когда республики и нации существуют для федерации. 70-летняя история нашего государства, к сожалению, свидетельствует о том, что федерация в основном существовала ради федерации. И это кажется высочайшим ее назначением авторам рассматриваемого издания.

Так же необоснованно, как они лелеют идею создания Закфедерации, они приветствуют и ее распад. Вот их текст: «В 1929 г. стал союзной республикой Таджикистан. В том же году Азербайджан, Армения и Грузия, ранее входящие в ЗСФСР, непосредственно вошли в состав СССР» (с. 33). Недостаточно указать лишь дату, нужно сказать и о том, в силу чего это произошло. Почему национальные и государственные отношения стали предметом юридически-бюрократического эксперимента, какая связь между объявлением Таджикистана союзной республикой и возведением в тот же ранг Азербайджана, Армении и Грузии?

Увлеченный положением о том, что каждая нация сама решает свою судьбу, авторский триумvirат констатирует: «Киргизский народ, образовав в 1924 г. автономную область, в 1926 г. преобразовал ее в АССР, а в 1936 г. АССР — в союзную республику» (с. 34). Вряд ли киргизский народ сам принимал решение именоваться автономной областью, а потом, осмотревшись, — чем я хуже других, — сказал: почему бы не быть автономной республикой, через два года по своей воле поднялся на более высокую ступень, а спустя еще десять лет счел себя вполне созревшим, чтобы называться союзной республикой. У киргизского народа никто об этом не спрашивал, за него думал один-единственный человек, народу же дано было право аплодисментами встречать принятые в кремлевских кабинетах решения. Любые. Мы же знаем, что так это происходило и в 1924 году, и в 1926-м, тем более — в 1936 году! Почему авторы хотят представить дело так, будто подобные вопросы решались путем каких-то референдумов?

Пожалуй, ни в одном издании, ни в одной публикации последних лет не найти такой полной реабилитации сталинского режима, как в этой книге! Для укрепления своей позиции авторы не находят ничего лучшего, как оправдание сталинской

политики, а это свидетельствует о том, что их построения возведены на очень зыбкой почве. Они не избегают и оправдания сталинщины, лишь бы воскурить фимиам жесточайшей государственной централизации. Правда, для отвода глаз отмечают и бюрократизацию страны, но она коснулась не только суверенитета республик, а и всей политической системы, чем и обусловлена необходимость проводимой ныне перестройки. Если бы даже страна была мононациональным государством, все равно для нее стал бы характерным бюрократический механизм. А сейчас послушаем суждение авторов: «Исключительно сложная международная и внутренняя обстановка строительства социализма в нашей стране обусловила общую линию на рост централистских тенденций в целях защиты завоеваний революции, разгрома внешних и внутренних врагов («врагов народа»? — Р. М.), восстановления и реконструкции народного хозяйства, осуществления планов индустриализации и коллективизации (какой ценой? — Р. М.), культурной революции и упрочения обороны страны» (с. 34). От необходимости дальнейших комментариев, надеюсь, читатель меня избавит.

То ли авторы книги сами плохо представляют, что такое «нация», то ли рассчитывают на неосведомленность читателей, когда совершенно бездоказательно заявляют: «У многих народов, в том числе таких крупных, как киргизы, таджики, башкиры и др., процесс складывания в нации еще не завершился, а у десятков малых народов — даже процесс складывания в народности» (с. 35). Что это значит? Почему нельзя считать киргизов и таджиков нациями? Какого признака им не достает, чтобы уважаемые авторы посчитали процесс «складывания» законченным? Чем не заслужили они их благосклонности?

Далее нас знакомят с более чем странной справкой. Оказывается, в 1924—1925 годах в бюджете Туркмении доля собственных доходов составляла около 10 процентов, а такая крупная республика как Украина покрывала менее 40 процентов своего расхода! Тогда за счет кого жили в 20-х годах республики? Надо полагать, что за исключением России все они были еще более убыточными, чем Украина. Неужели Россия, которая сама находилась в бедственном положении (об этом много писалось в последнее время), могла кормить столько «иждивенцев»? Во-первых, насколько справедлива мысль о том, что Россия добавляла в бюджет Туркмении 90 процентов, Украины — 60, и, бог весть, сколько еще кому-то? И, во-вторых, разве не надо до конца раскрыть скобки? Откуда вычислены эти проценты? Учитывались ли в доходах республик такие валют-

ные ценности как украинский уголь, азербайджанская нефть, грузинский марганец и т. д. и т. п.?

В книге на эти вопросы ответа нет. Ее авторы стремятся убедить нас в другом, в частности в том, что Советская власть заботилась об усилении экономики «национальных окраин» и именно для этой цели, оказывается, не только из России, но и с Украины, которая лишь на 40 процентов покрывала свои расходы, туда — на «национальные окраины» — посылались трудовые резервы! Вот что по этому поводу узнаем по ходу чтения: «В 1926 г. рабочие и служащие среди узбеков составляли всего 6 процентов, в 1939 г. — 18, а в 1959 г. — уже 36 процентов. Следует, однако, подчеркнуть, что в структуре рабочего класса республик значительный удельный вес имели рабочие русской, украинской и др. национальностей, именно они в основном были заняты в ведущих отраслях промышленного производства, а население, давшее название республикам (обратите внимание: авторы не говорят «коренное население», для них неприемлем этот термин, в чем мы скоро убедимся, — Р. М.), трудилось либо в сельском хозяйстве, либо в непродовольственной сфере» (с. 37).

Это еще вопрос, насколько целесообразна политика ускорения развития промышленности упомянутых республик за счет (и в ущерб) других народов, когда выясняется, что курс был взят не на развитие национальной экономики, а на усиление общесоюзного народнохозяйственного комплекса. Можно было бы предположить, что децентрализация традиционных промышленных центров и создание в других регионах новых центров были продуманным и дальновидным стратегическим соображением, которое оправдало себя во время Великой Отечественной войны. Если так, то, во-первых, нужно было это отметить, а не объяснять все гуманными соображениями и, во-вторых, следовало сказать и о том, что такой путь ускоренного развития промышленности в республиках имел и отрицательные последствия в области национальных отношений. Но какие претензии можно предъявлять к авторам книги, если даже мысль о том, что от нации, «давшей республике имя», останется одно лишь имя, не вызывает в них никаких тревожных чувств.

Состав рабочего класса в Казахстане и среднеазиатских республиках в результате вышеотмеченной политики стал в основном русским, поскольку и представители других народов, оказавшиеся в их среде, естественно, больше тяготели к обрусению, чем к ассимиляции с местным населением. Насколь-

ко это было правильным с точки зрения национальной политики, принимая во внимание то обстоятельство, что все вышеупомянутое происходило за счет опустошения центральной России? Вместе с тем, следует учесть, что значительная часть «нового» населения шла на жертвы не по своей доброй воле, а вследствие репрессий. «Раскулаченные» крестьяне разных национальностей тысячами, сотнями тысяч выслались в основном в Казахстан и утрачивали свои национальные признаки, за исключением русских. Русские же в основном воспринимали новые земли лишь как восточную часть России, где больше слышалась русская речь, чем казахская.

Не только ускоренная индустриализация и коллективизация, но и само государственное правление вызывало в некоторых республиках максимальное сужение национальных интересов. В Северокавказском крае, оказывается, в 1936 году в 18-ти краевых управленческих учреждениях из 1310 работников представителей местных национальностей было лишь 17 человек, что обусловило появление специального постановления Президиума ЦИК СССР, в котором отмечалось, что 65 процентов населения данного региона являлось нерусским, а делопроизводство в учреждениях тем не менее велось на русском языке (с. 38). Цифры настолько вопиющие, что даже власти забеспокоились. Но ведь и сегодня делопроизводство здесь осуществляется на русском языке, а не на осетинском, кабардинском или аварском. Более того, не существует и национальных школ, население и не ощущает необходимости в них, ибо использование национального языка фактически ограничено семейно-бытовой сферой. Правда, еще сохраняются (слава тебе, Господи!) национальные традиции в искусстве и литературе. Что же изменилось, что практически сделано после постановления 1936 года? Разумеется, значительно возрос в процентном отношении состав местного населения в управленческом аппарате за счет лиц, хорошо владеющих русским языком (знание языка коренного населения и не было обязательным, если человека не назначали редактором национального журнала или директором национального театра). Фактически этим и ограничилась забота о коренном населении. Разве не удивительно, что в городе Орджоникидзе, где по желанию грузинской части населения уже сто лет функционирует грузинская средняя школа, нет ни одной осетинской? Грузинская молодежь, живущая в Северной Осетии, может получить в Грузии на родном языке высшее образование, а как быть молодым осетинам?..

Через всю книгу красной нитью проходит резкое осуждение национальной ограниченности, кичливости, исключительности, местничества, которые мешают дружбе народов. Эти и подобные качества, конечно же, подлежат осуждению, но беда в том, что авторам издания эти пороки видятся почти в каждом проявлении национальных чувств, интересов, скажем, даже в сопротивлении ассимиляции.

«В процессе интеграции (на наш взгляд, этот термин для социализма предпочтительнее «ассимиляции»), который в условиях социализма происходит естественно, свободно и добровольно, лица одной национальности воспринимают язык, культуру и быт другой национальности, в среде которой они проживают» (с. 59).

Да, термин «ассимиляция» тут стыдливо заменяется «интеграцией», но в то же время не отрицается, что это синонимы, делается попытка показать как у нас происходит «социалистическая» ассимиляция! Оказывается, что происходит она естественно, свободно и добровольно. Прекрасно! Представители одной нации «естественно, свободно и добровольно» воспринимают язык, культуру и быт другой нации и с абсолютной готовностью растворяются в ней. Не уподобляясь авторам книги, отбросив ложную стыдливость, возвратим фактам их истинное наименование: это чистейшей воды ассимиляция, а ее одобрение не что иное, как великодержавный шовинизм! Если не принимать во внимание крайне редких исключений, русские не претерпевают ассимиляции, которая скорее была возможна, сколь ни парадоксально это звучит, в условиях царской России, оставившей нам в наследство грузинских Гоголей и Ермаковых, переселившихся давно в грузинские села. Сегодня эта возможность почти полностью исключается; русский язык и культура получили настолько широкое распространение во всех республиках, что русскому человеку не нужно огрузиниваться или обэстониваться. А представители других наций могут обрусеть не только в России, но и в любой республике (даже в собственной!), для этого созданы все условия. И авторы без зазрения совести могли бы сказать, что люди «естественно, свободно и добровольно» воспринимают язык, культуру и быт не другой национальности, а именно русской! Но они этого не говорят, очевидно, из стыдливости... Сомнительно, например, чтоб добровольно или по принуждению переселенный в Узбекистан грузин предпочел русскому языку узбекский; если не он, то, во всяком случае, его дети, тем более внуки, станут не узбеками, а скорее всего русскими.

Такое терпимое отношение к ассимиляции имеет свои корни в национальном нигилизме старых большевиков.

Несмотря на восторженное отношение к ассимиляции или «интеграции», авторам книги хватает смелости утверждать: «Союзная республика имеет свое гражданство... Союзная республика имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций» (с. 63).

Как хорошо, оказывается, обстоит дело! Но ведь все это блеф! Во-первых, что означает гражданство республики? Ведь должно оно иметь какой-то статут, должен же знать свои права и обязанности «гражданин республики»? Почему ставят этот вопрос эстонцы? Неужели они не знают, что уже являются обладателями всех этих благ? А может быть, Эстония — исключение? Возможно, эстонские товарищи еще не читали книги, открывшей нам глаза? Если гражданство республики означает наличие в паспорте соответствующего штампа о прописке, тогда надо признать, что каждый ЖЭК имеет свое «гражданство»! Во-вторых, откуда взяты сведения о том, что республика имеет право на дипломатические отношения с иностранными государствами на уровне посольств и консульств? Что-то не помнится, чтоб послы Грузии сидели в Вашингтоне, Лондоне, Токио! Или консул — в Париже! Может быть, генеральный консул есть у Армении в Лос-Анджелесе, где живут около 300 тысяч армян? Или мы имеем право, но не пользуемся им? О чем может идти речь, если республика имеет право послать лишь в командировку своего специалиста за рубеж, да и то с благословения... всесоюзного ведомства! И только!

А сейчас ознакомлю читателя с еще более любопытными соображениями, изложенными в книге: «Современный этап развития национальных отношений в СССР было бы принципиально неправильно характеризовать как этап слияния советских наций и народностей, преодоления национальных различий. Это было бы явным и неправомерным **забеганием** вперед, способным серьезно повредить практике развития национальных отношений в нашей стране, ибо необоснованно ориентировало бы ее на произвольное, субъективистское **ускорение** объективно развивающихся национальных процессов, на «перепрыгивание» еще не пройденных объективно обусловленных этапов их развития» (с. 71).

Авторы этого положения считают, что на современном

этапе еще рано говорить о слиянии наций, — это все в будущем! Утверждать это сегодня — значит предвосхищать «объективно» развивающийся процесс, заниматься неоправданным «ускорением», «забеганием». Куда торопиться, если эти процессы объективно развиваются, направляются в «нужное» русло, пока мы еще не прошли все этапы, ведущие к их завершению. Авторы книги ссылаются и на Программу партии, в которой записано, что с этим делом не надо торопиться. Так откуда у нас такое нетерпение? Очевидно, не следует сомневаться в том, что это должно неизбежно произойти, если не сегодня, то завтра. А коли так, то, зная хотя бы теоретически, что такое коммунизм, необходимо знать, также теоретически, что такое «слияние наций», чтобы к этому стремиться. Когда крокодил встречается с антилопой, известно, чем обернется их «слияние»: крокодилу что-то прибавится, а антилопа исчезнет. Неужели такая же участь ожидает и малочисленные народы? Возможно, под «слиянием» подразумевается такое положение, когда из двух наций образуется какая-то третья? В истории человечества много случаев, аналогичных «слиянию» крокодила с антилопой, а в получении от слияния двух наций третьей — аналога нет! Ни одного! Слияние родственных племен — естественный процесс, который на языке наших авторов зовется консолидацией наций. Если верить им, то, например, итальянская нация образована лишь в эпоху капитализма, в XIX веке, если же опираться на историю и здравый смысл — гораздо раньше, на основе слияния разных латино-итальянских племен, которые говорили на родственных языках или диалектах и компактно жили на общей территории. Среди этих племен давно растворились и этруски — неиндоевропейское племя. Поскольку в те времена на территории Италии еще не был построен социализм, назовем это явление ассимиляцией, а не интеграцией. Этруски исчезли, оставив образцы своей культуры, до десяти тысяч все еще не расшифрованных окончательно надписей, несколько десятков слов и географических терминов... Нет, не получится путем слияния грузин и русских, или русских и китайцев какая-то другая, «улучшенная» нация. Боже упаси, и грузин, и русских от такого слияния, упаси человечество от такой беды! Неужели наши авторы думают, что существование разных «красных книг» продиктовано лишь милосердием? Или полагают, что уменьшение разновидностей всего живого улучшает оставшиеся виды? Нет, человечество не пойдет по пути слияния наций, по пути самовымирания. И нашим авторам, и

другим радателям такого «слияния» надо понять — нельзя идти против человечества!

А если следовать их версии о том, что процессы развития национальных отношений идут к «слиянию», тогда надо осуждать не тех, кто опережает события, а, наоборот, тех, кто их тормозит, в том числе и наших авторов, призывающих сдерживать «эмоции».

В книге не принимаются в расчет ни уроки истории, ни современное положение (а ведь в современном мире развиваются совершенно противоположные процессы). Когда в порядке дня стоит вопрос о росте национального самосознания и самоопределения наций, проповедовать подобные теории — чистейший анахронизм, повторение национального нигилизма некоторых социал-демократов начала нашего века, их антинациональной позиции.

Между тем авторский триумvirат бьет в литавры, — постепенно стирается различие между нациями; в то же время досадует, что ассимиляция, названная ими интеграцией, коснулась лишь некоторых малочисленных народов, вследствие чего уменьшилось общее число народностей Советского Союза, но полон уверенности, что не завтра, так послезавтра сбудется мечта — нации сольются. Ныне же малочисленные нации не исчезают, происходит лишь замена их национальных особенностей особенностями другой нации. И этот процесс представлен таким же простым, как смена, скажем, летней одежды на зимнюю. Сегодняшнее сближение наций, по мнению авторов, тем и отличается от грядущего их слияния, что они как самостоятельные единицы все еще сохраняют национальную энергию. Как только она будет исчерпана, все станет на свои места: нации «еще далеко не исчерпали свои возможности» (с. 72). Теперь послушайте, как лукаво обрисовано это на страницах книги: «В ходе интеграционных процессов происходит не исчезновение национальных различий, а замена одних национальных особенностей другими...» (с. 71). Великолепно! Не исчезают национальные признаки, а лишь заменяются другими, не исчезает, например, язык малочисленного народа, а заменяется русским! Позволительно спросить — если национальные особенности, замененные другими, не исчезают, то куда они деваются, кому передаются?..

Сближение наций — первый этап вожделенного слияния, — как вытекает из прочитанного, должно происходить путем обмена населением между республиками, путем более активного участия трудящихся, особенно молодежи ряда южных

республик, в интернациональных стройках и программах последовательного осуществления интернационалистского принципа в кадровой политике, повышения роли двуязычия во всех областях жизни» (с. 81).

Не знаю, на каких южных республиках остановили свой выбор авторы, но ясно, что вместо переселенных на юг специалистов и других лиц из центральной России и Украины на стройках Севера, в том числе и на «стройке века» — БАМе, должны работать южане, чтобы оплатить долг своим братьям. Ведь понятно, что означают такие миграционные процессы. На раннем этапе произошла миграция населения с севера на юг, как об этом и сказано в книге, в южных республиках поселились в основном русские и украинцы. И это объясняется их бескорыстным желанием помочь южным братьям в подъеме народного хозяйства. Конечно, нельзя исключать и бескорыстие (естественно, не поголовное и массовое!), но хорошо известно то обстоятельство, что огромная масса людей с Приволжья и с Украины двинулась на юг, спасаясь от страшного голода и холода. Недавно была опубликована докладная записка выдающегося ученого, академика И. Джавахишвили правительству Грузии о демографической ситуации тех времен. Грузия приютила тогда десятки тысяч беженцев (не «специалистов», просто беженцев!), несмотря на то, что в других республиках отказались принять даже представителей своей нации, ибо они так же, как и Грузия не имели возможности накормить и трудоустроить пришлое население. Авторы книги, закрывая глаза на это обстоятельство, объясняют все лишь интернациональным чувством русских и украинцев. Поскольку у них низок процент естественного прироста населения и они хорошо освоились на новом месте (в конце концов, ведь ими создан в среднеазиатских республиках рабочий класс и сегодня они нужны там), им следует там и остаться, а на север и восток должно переселиться избыточное коренное население, например, Азербайджана (авторы конкретно указывают на эту республику), чтобы от этих народов осталось бы лишь название республики. Известно, что когда объявляется ударная стройка, туда посылаются в первую очередь как раз те, кто «дал имя республике». Так, например, на строительство Руставского металлургического завода и ЭнгуриГЭС мы приглашали специалистов из других республик, а на БАМ посылали преимущественно грузинских строителей. И на целину ехали грузинские студенты, а не избыточное негрузинское население некоторых

сельских районов, которое больше понимает в сельском хозяйстве, чем студенты-горожане, будущие лирики и физики.

Авторы незаслуженно упрекают «некоторых», кто считает, что сближение народов вплоть до их слияния произойдет само собой. Нет, не был этот процесс пущен на самотек, в этом направлении делались практические шаги как Хрущевым, так и Брежневым и их неизменным идеологом Суловым, по своему усмотрению толковавшим Маркса и Ленина в угоду малограмотным вождям.

Но последуем за дальнейшим ходом рассуждений по данной проблеме: «Благодаря усилиям главным образом русского рабочего класса, сознательно шедшего на материальные жертвы, решалась задача преодоления отсталости обширных регионов страны, когда проходил процесс становления социалистических наций и национальной государственности» (с. 84). Никто тогда не согласовывал эти вопросы ни с рабочим классом, ни с замученным голодом и бежавшим из деревни крестьянством. Миграция во многих случаях была вынужденной, нередко в сопровождении вооруженного конвоя.

Читателю, думается, ясно, что в этих суждениях факты подгоняются под заведомо отработанные схемы. Поэтому, естественно, в книге множество противоречий. Вот один из примеров: «Ограниченность статистических данных и отсутствие однотипных (универсальных, сопоставимых) показателей пока не дает исследователям возможности сравнить реальные уровни производства и потребления на душу населения в Центре и в Закавказье, в Прибалтике и в Средней Азии» (с. 86).

Надо полагать, что такое же положение и в Молдавии, и на Украине, и в Белоруссии, видимо, и в России (почему-то эти республики не перечисляются, хотя, может быть, некоторые из них считаются «Центром»). Таково положение сейчас. Каково оно было в 20-е годы? Очевидно, хуже! Тогда как же мы можем судить об экономике 20-х годов, подходя к ней с сегодняшними мерками? Видимо, еще более поверхностно! Но несмотря на это, когда понадобилось показать, как Советское государство развивало отсталые регионы, откуда-то были взяты те пресловутые 10 процентов, производимые Туркменией для удовлетворения своих бюджетных расходов, и те остальные 90 процентов, которые ей добавлял мифический добрый дядя.

Авторы книги выражают недовольство тем, что некоторые нации не так легко уступают собственную землю, цепляются за родственные связи, им трудно собрать пожитки и

оказаться в другом регионе: «В среднеазиатских республиках стоят архаические традиции значительной части сельского населения. Они тормозят рост местных отрядов рабочего класса, препятствуют выезду молодежи в другие районы... Миграционные процессы вызывают серьезную озабоченность в Латвии, тем более, что налицо значительное снижение темпов воспроизводства местного населения. Ссылаясь на увеличение в 1979 г. численности русских, белорусов и украинцев, вместе взятых, в 5 раз по сравнению с предвоенным уровнем, некоторые писатели в драматической форме (?) оценивают перспективу демографических сдвигов в республике» (с. 88).

Если в Латвии в течение последних трех десятилетий в пять раз возросло русскоязычное русско-украинско-белорусское население, это уж, извините, не драма, а трагедия и нечего упрекать писателей в драматизации положения.

Авторы книги считают, и, к сожалению, не без основания, что следует по-новому рассматривать вопрос о коренном и некоренном населении: «Сегодня нужен новый подход к понятиям «коренные» и «некоренные» национальности. Во-первых, к «коренной» сплошь и рядом относят лишь национальность, давшую название республике, тогда как другие, в том числе веками живущие на ее территории, таковыми не считаются. Во-вторых подобная терминология лишь усиливает элемент противопоставления различных национальностей, недопустимого в нашей среде. В-третьих, она молчаливо предполагает привилегированный статус нации, давшей название республике» (с. 89).

Но, спохватившись, тут же добавляют: «Сказанное не значит, что можно мириться с фактами неуважения к языку, традициям, культуре народа, среди которого живешь». (А впрочем, почему нельзя мириться? Все можно, что не запрещено!).

Что же получается? Население, «давшее название республике», следует лишать всех привилегий, среди них, видимо, языка культуры. Действительно, если в Казахстане живут лишь 36 процентов казахов, как могут там предприятия и учреждения работать на казахском языке, тем более, если учесть, что большинство из этих 36 процентов — сельское население. Постепенно, следуя такой логике, этот процент должен уменьшиться, и придет время (Боже, упаси!), когда в стране не останется ни одного казаха, будет лишь «слитая» нация, которой предстоит говорить на «слитом» русском языке. И после этого авторы книги льют крокодиловые слезы — нельзя, мол, игнорировать местный язык и культуру. Но кому нужны будут этот язык, эта культура? Лингвистам и этнографам?

Демографическая перспектива в союзных республиках имясна, но для создания полной картины следует сказать еще ободной республике — о Российской федерации. Надо же, чтобыи там изменилось демографическое положение; Россия не можжет быть исключением, ведь у нас все республики равноправны! Обратимся опять к анализируемому тексту: «Интернационализм политики КПСС рельефно проявляется в совместных усилиях всех советских республик по дальнейшему подъему Нечерноземной зоны РСФСР» (с. 90).

Значит, настал момент, когда «национальные окраины» должны вернуть долг русскому народу за их прошлые бескорыстные жертвы? Но тогда, продолжая мысль авторов, должно произойти переселение в Россию других национальностей. Длинная ракировка даже в шахматах не всегда гарантирует успех, а уж безусловно сомнительна она в национальном вопросе. Дальше изложенная в книге позиция конкретизируется: «Важно, чтобы миграционные потоки шли из районов, хорошо обеспеченных людскими ресурсами (Средняя Азия, Азербайджан и др.) в районы менее обеспеченные (Север, Дальний Восток, Сибирь)» (с. 91).

Итак, никаких поводов для сомнения. Сперва у России была отнята недостающая нам рабочая сила, а сейчас мы сами переселимся туда. В данном случае действует принцип — не Советский Союз существует для наций, а они для Советского Союза. Север, Дальний Восток и Сибирь — это Россия, а не бесхозные земли. Переселение азербайджанцев туда означает обрусение этого населения, а не «обазербайджанивание» новых земель. Если эти земли надлежит освоить азербайджанцам, они и должны быть отнесены к Азербайджану и стать частью экономики этой республики. Но так ведь никто не ставит вопрос. Почему? Понятно, что это абсурд, как и абсурден призыв авторов книги.

Особенно важно, как мы поняли, читая ее, оторвать молодежь от родных мест. Главное, нацелить ее на получение образования не в своей, а в других республиках, чтобы было больше шансов навсегда остаться там (с. 95). По мнению авторов, чтобы не заболеть национализмом, всегда надо думать о том, в каком положении твой класс в других странах, ибо они твои истинные братья. Превыше национальных интересов надо ставить интересы других: «Думать не только о своей нации, **превыше ее ставить интересы всех**» (с. 102). Читателю этот призыв может показаться примитивным лозунгом начала нашего века. Если перенести эти национальные отношения в

план просто человеческих, получится интересная арифметика: я о себе не думаю, я думаю о других пяти миллиардах людей, все так поступают; следовательно обо мне думают пять миллиардов минус один человек. Разве так не лучше?

Чтобы еще раз выразить восторг по поводу решения у нас национального вопроса, авторы прибегают к испытанному приему: сопоставляют советский и американский парламенты. И утверждают, что в нашем — представлены все национальности, не то что пропорционально, но и с определенной привилегией по отношению к малочисленным народностям. Так, например, русские представляют 52 процента всего населения страны, а в Верховном Совете СССР они имеют 46 процентов депутатских мандатов. В США 20 процентов населения цветное, а в 1984 году в Конгрессе представлено лишь пять процентов негров (с. 116). То, что критикуют авторы, может послужить примером лишь расовой дискриминации, а никак не национальной. Американский негр, если и отличается от бывшего ирландца или англичанина, ныне гражданина США, то лишь цветом кожи, то есть — расой.

У советских республик нет собственной экономики. Сами авторы указывают на то, что экономика СССР это не общая сумма экономик республик, а самостоятельный единый народнохозяйственный комплекс. При чем же тогда экономические взаимоотношения республик и необходимость усиления прав Центра для их улучшения, о чем идет речь на 121—122 страницах книги? Если это делается для оправдания потребности дальнейшего усиления и развития союзных начал, то оно несостоятельно. С самого начала управление экономикой происходило централизованно без учета интересов отдельных республик. Так что не их экономические интересы обусловили необходимость политики централизации, а сама центральная власть, сама политика централизации определили общесоюзный характер экономики, модель которого изначально была заложена в имперской экономической политике России. Был заменен лишь государственный строй, но ни на одном историческом этапе не подверглась расчленению по республикам единая экономика. Конституция 1977 года по сравнению с Конституцией 1936 года (сталинской Конституцией!) еще больше усилила союзные начала, как это с одобрением изволили констатировать наши авторы, скрупулезно перечисляя аспекты расширения прав всесоюзных органов при том, что фактически нет ни одной сферы общественной жизни, в которой проявилась бы независимость республики. По их словам, если в старой (ста-

361935940
110933

линской) Конституции 1936 года основы союзного законодательства строились лишь на некоторых сторонах нашей жизни, то новая Конституция охватывает все ее сферы. Кроме того, специально акцентируется 12-й пункт 73-й статьи, где отмечено, что в компетенцию СССР входит решение и «других вопросов», чтобы, не дай Бог, ничего не пропустить! И после всего этого ничтоже сумняшеся нас пытаются убедить в том, что укрепление всесоюзных начал происходит в неразрывной связи с повышением роли и значения государственности республик. Фантазия поистине достигает мюнхгаузенских высот. Помните, как барон сам себя вытаскивал из болота, вцепившись в собственные волосы? Невольно вспоминаются приводимые в книге цифры, свидетельствующие о том, что республики обеспечивали себя какими-то жалкими процентами, а остальное им давал то ли добрый дядя, то ли Дед-Мороз. Как можно представить усиление центральной власти в «неразрывной связи» с повышением прав республик? За счет чего? Ведь централизация и децентрализация исключают друг друга?

И все же, несмотря на явное несоответствие, на явное противоречие, наши смелые авторы тут же приводят параграф о децентрализации и расширении прав республик. Интересно взглянуть в него и посмотреть, как они будут выходить из тупика. Выходят, не отступают и даже решительно идут вперед! Практически они могли бы при желании решить и топологическую задачу: снять рубашку, не снимая пиджака!

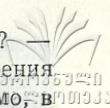
Для достижения своей цели все трое авторов снова обращаются к Конституции и отмечают, что согласно новой Конституции, республикам дано право, причем впервые, законодательной инициативы в Верховном Совете, а также право на принятие участия в проведении общесоюзных мероприятий. Отметим мимоходом, что участвовать республике во всесоюзных мероприятиях вменяется в обязанность, а не дается право, как же иначе они могут быть «всесоюзными»? Если речь идет о праве, то можно было бы и отказаться от принятия участия. Дальше, республика имеет право внести предложение в Президиум Верховного Совета СССР о всенародном обсуждении законопроектов. Одним словом, выходит, республика имеет такие же права, какими обладают любые всесоюзные ведомства или отдельные депутаты. И не только депутаты, в Президиум Верховного Совета может обратиться с предложением любой гражданин Советского Союза. Другой вопрос, как к этому относятся и насколько результативным будет это обращение. Право предполагает не только возможность поставить вопрос, но

и решить его, не только участие в решении вопроса, но и самостоятельное по собственной воле его выполнение, а не под чужим диктатом или по чьему-то поручению. О расширении прав республик можно будет говорить тогда, когда всесоюзная власть уступит некоторые свои функции республикам, когда делает их прерогативой республик. Смысл же этого параграфа у авторов выглядит лишь как право повиновения. Они могли, но почему-то не захотели сказать о том, что XIX партконференция поставила вопрос о реальном расширении прав союзных республик, о постепенном их переходе к хозрасчету и самофинансированию. Произойдет же это за счет децентрализации, а не «добраго дяди», о чем умалчивается, видимо, потому, что это противоречит общей направленности книги.

На ее 125—126 страницах уже появился термин «перестройка», в свете которого авторы посчитали нужным раскритиковать государственный управленческий аппарат. Они говорят, что руководители «отдельных» союзных министерств, следуя инерции, не берут на себя решение мелких вопросов, экономические методы руководства заменяют администрированием. Как можно так упрощать централизованную политическую систему, или как можно этот порочный стиль объяснять безынициативностью республик? С другой стороны, если республика проявит инициативу и постарается самостоятельно сделать шаг вопреки центральному ведомству — готов ярлык: стремление к национальной замкнутости, местничество.

«Многие руководители республик и сегодня проявляют недостаточную смелость, инициативу и активность в использовании широких прав республики... А порой проявляют стремление к национальной замкнутости, местничеству, иждивенческие настроения» (с. 125—126). Внимание читателя в первую очередь хочется обратить на два момента: как говорится о руководителях **отдельных** союзных министерств и как — о грехах **многих** руководителей республик. Налицо смягчение формулировок, когда вопрос касается «Центра» и ужесточение в отношении «окраины». Ох, уж эта «окраина»!.. И в то же время не сказано о необходимости реформы политической системы, о расширении прав республик, отмеченных в резолюциях XIX партконференции. И конференция, и множество публикаций последнего времени прошли незамеченными для авторов книги...

«Было время, когда, решая вековую национальную проблему с позиций социалистического интернационализма, наша страна сознательно шла на то, чтобы строить те или иные промышленные объекты в национальных районах (что это за тер-



мин «национальный район», а где же «ненациональный»? — Р. М.) даже тогда, когда с чисто экономической точки зрения более эффективно это можно было сделать в других (видимо, «ненациональных» — Р. М.) районах. Такой подход вызывался необходимостью решать задачу ликвидации экономического неравенства национальных районов» (с. 137).

Здесь сколько положений, столько и несуразностей. Уточним: «национальные районы» на языке наших авторов — это республики за исключением РСФСР, а «другие районы», или «ненациональные» районы (видимо, следует под этим подразумевать сверхнациональные или интернациональные) — это РСФСР. Теперь разберемся в сущности проблемы: оказывается, наша страна строила промышленные предприятия и в экономически неоправданных местах, лишь бы добиться экономического уравнивания «национальных районов». Полистав книгу назад, на странице 134-й читаем: «Экономика СССР давно уже представляет собой не простую сумму экономик союзных республик, а единый высокоразвитый народнохозяйственный организм». Если взять за основу это положение, то о каком экономическом уравнивании идет речь? Разве важно, где будет развита экономика, в «национальных» или в «других» районах, а не то, где она более эффективна? Наивно полагать, что экономика развивалась в неблагоприятных местах лишь для того, чтобы поставить на ноги экономику республики, которой как самостоятельной единицы не существует! Одним словом, логику в таких высказываниях обнаружить невозможно. В действительности же централизованы и взаимозависимы предприятия без всякого учета республиканских границ. Главное заключалось не в том, чтобы Казахстан, Туркменистан, Украина или какая-либо другая республика имели сильную экономику, а в том, чтобы ни одна из них не могла существовать самостоятельно. Удивительные вещи происходят поэтому в нашей экономике. Настоящим курьезом можно считать, например, взаимоотношения марганцевых залежей Чиатура и завода ферросплавов Зестафони. Эти два грузинских города отделены друг от друга какими-то 30 километрами. И в то же время марганцевую руду для обработки вывозили из Чиатура за границу и в Донецк, а в Зестафони ее ввозили из Бразилии и... Донецка! Нелепость такой экономики очевидна. Если наше государство «сознательно» проводило политику жертв, то она носила характер государственной тайны, когда никто не знал, кто что производит, кто на что горазд, и главное, чтобы никто не мог существовать самостоятельно. Сегодня мы пожинаем горькие плоды этой эко-

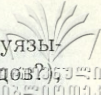
номики, о чем много пишется в нашей прессе, но, к сожалению, такие материалы обойдены вниманием наших авторов. «В многочисленных залах, — настойчиво твердят они, — на десятках и сотнях стендов показывается, что данная республика производит и куда она свою продукцию вывозит. А о том, с чьей помощью она этого достигает, что ей поставляют братские союзные республики, ничего или почти ничего не говорится» (с. 139). Вот с каким возмущением говорится о выставках чародного хозяйства.

Авторы требуют уравнивать всесоюзный и национальный патриотизм (с. 157). А главным, по моему мнению, должен быть национальный патриотизм, откуда и исходит как интернационализм, так и советский патриотизм. И нравится это или нет создателям книги, эстонец должен быть в первую очередь эстонцем, а уже потом советским гражданином. Если кто-либо думает наоборот, у него просто нет национального чувства.

В ходе рассуждений об интернационализации советского народа ее аспекты рассматриваются во всех сферах — в экономике, политике, в «языковой жизни»...

В социальной сфере интернационализация, по мнению авторов, выражается в обмене населением, в языковой — проявляется в превращении русского языка в язык межнационального общения для всех народов, в «национально-русском и русско-национальном двуязычии» (с. 169). На 172—173 страницах приведена динамика процентного увеличения численности в республиках иных национальностей. Самое тяжелое (а по разумению авторов — благоприятное) положение складывается в Казахстане, где коренное население — казахи — составляют лишь 36 процентов от общей численности его жителей. Этому способствовало помимо известных миграционных процессов 20-х годов и то обстоятельство, что сюда в 50-х годах по призыву партии народ двинулся отовсюду для освоения целины (с. 173). И вот вывод: «Процесс миграции населения будет продолжаться, и республики будут становиться еще более многонациональными по составу населения» (с. 173).

Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, трудно согласиться с мнением, что интернационализация является тем большим благом, чем больше национальностей проживает в республике и чем больших масштабов достигает миграция. Во-вторых, национально-русское двуязычие, вернее распространение русского языка в качестве средства межнационального общения, уже свершившийся факт, и наша политика направлена



по этому руслу. Что касается «русско-национального двуязычия» (когда русские изучают языки других братских народов?) — это — если не аномалия, то, во всяком случае, крайне редкое явление, и политика в этом направлении до сих пор осуществляется так, чтобы исключить его необходимость. В-третьих, не касаясь вопроса, насколько оправдала себя целинная эпопея, смею утверждать, что с национальной точки зрения она принесла большой вред республике и это не следует упускать из виду. Мы не можем радоваться, что казахи представляют лишь 36 процентов населения своей республики. Никакая «интернационализация» не может оправдать это.

В связи с этим следует сказать и о том, что мешает в республиках ассимиляции, или интеграции (как это явление стыдливо называют авторы) малочисленных наций. Возьмем, к примеру, Грузинскую республику, где помимо грузин (68 процентов) проживают: абхазы, осетины, русские, армяне, азербайджанцы, украинцы, евреи, греки, курды и другие. В исторически обозримом времени никогда не бывало случаев притеснения грузинами других народов с требованием их огрузинивания. Поэтому все они сохранили свое лицо, язык, обычаи, религию. Но обратимся к настоящему. Если бы в Грузии существовали лишь грузинские школы, культурные учреждения, газеты и т. д., представителям других народов было бы трудно здесь жить. Или если бы действовали школы только двух типов, как во многих других республиках, лишь национальные (грузинские) и русские, большого выбора не было бы, скажем, у армян и азербайджанцев, их дети получили бы образование или в грузинских школах, или большая их часть по понятным причинам — в русских. А в Грузии открыты школы на всех языках, на которых пожелали обучаться проживающие здесь представители разных национальностей, ведутся радиопередачи на многих языках, выходят газеты, книги, открыты театры, функционируют разные национальные ансамбли... Выходит, что грузины препятствуют не только огрузиниванию, но и обрусению населения. А это, если стать на точку зрения наших авторов, большой грех, поскольку мешает «интеграции» и «интернационализации» не только грузин, но и 32 процентов негрузинского населения...

Авторы озабочены тем, что в Казахстане нарушались пропорции приема в вузы и техникумы в пользу казахов, что приводит к миграции из республики неказахского населения (с. 175). Это плохо! Хорошо, когда делается все для приема мигрантов из других республик и осуществляется миграция корен-

ного населения из собственной республики! Они возмущены поступками некоторых руководителей, тормозящих эти процессы: «Некоторые советские и партийные работники считают, что в ходе регулирования миграционных процессов нужно стремиться к тому, чтобы любыми путями обеспечивать преобладание удельного веса местного населения. Правомерна ли такая постановка вопроса? Думается, что нет, ибо в этом случае пришлось бы искусственно ограничивать приток мигрантов — там, где оно необходимо — в союзные и автономные республики. Это противоречило бы процессам интернационализации общественной жизни, интернационализации кадров, вступило бы в противоречие и с задачами развития единого народнохозяйственного комплекса» (с. 177).

Трудно найти подходящие слова, чтобы прокомментировать столь беспардонное заявление. Но после этого без тени смущения говорится о том, что республикам надо дать больше прав пользоваться трудовыми ресурсами. Это означает право выселения из республики коренных жителей...

Для авторов книги задача ясна, тем более, что следует освоить восточные районы (с. 178); но, оказывается, беда в том, что миграции препятствуют семейные и родственные связи, в силу чего многие еще не понимают, насколько тяжело жить в собственной республике и как хорошо переселиться за тридевять земель, ибо это является проявлением интернационализма. Я хочу пощадить читателя и не привожу соответствующей цитаты. Но могу указать страницу — 179-ю...

Авторы знают, что **должны** критиковать Сталина, но не замечают, как этой критикой выбивают почву из-под своей теории. По их словам, во времена Сталина «искусственно форсировали процессы объединения национальных культур, как будто бы в этом и заключался подлинный интернационализм» (с. 190). Это положение продолжалось и после Сталина, причем более интенсивно, более «по-сталински». Шел разговор и о слиянии наций, но, что самое главное, все делалось и тогда и после для развития того процесса, который нашими авторами назван «интеграцией». Об этой вредной тенденции говорит и рассматриваемая книга, и когда — в 1988 году, в самый разгар перестройки: «Социализм шаг за шагом **уничтожает** перегородки между нациями» (с. 190). Здесь прямо сказано об агрессивном характере антинациональной политики. Но при чем тут социализм? Нет! Действует какая-то другая сила, и ее преданными солдатами выступают Э. А. Баграмов, Ж. Г. Голотвин Э. В. Тадевосян!

Стремление к «слиянию» наций, признание того, что этот процесс происходит естественно, добровольно и объективно, поощрение, а иногда проведение его силой и многое другое приводит к притуплению национального самосознания, или, как отмечают наши авторы, к эрозии духовного богатства нации (с. 191). Но начался противоположный процесс, чему способствуют желанные гласность и перестройка. Невозможно этого не заметить. Авторы замечают, но осуждают отдельных писателей за «драматизацию».

Критикуя позицию РАППовцев и других авангардистов, в то же время считают, что существовала другая крайность — национальная ограниченность в искусстве. Это не менее опасно — предупреждают они (с. 197). Что же опасно? Обращаться к национальной тематике, углубиться в этнографизм, не отражать в своем творчестве событий, происходящих за пределами своей республики? Вот это, по их мнению, и есть буржуазный национализм. Да, мы помним, как «буржуазному национализму» были принесены в жертву Михаил Джавахишвили, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, многие другие... Такими же «буржуазными националистами» оказались Булгаков, Пастернак, Ахматова, многие другие... Да, «советская общественность» отвергла такие явления, как утверждают наши авторы, а мы со своей стороны добавим — не только отвергла, но и не жалела ни ядовитых слов, ни... пуль. Разве можно сегодня так писать? Разве работать над национальной тематикой значит быть националистом? Почему Сосюра любил Украину?

Чтобы доказать благотворное влияние русской культуры на Айтматова, Кара-Караева и Хачатуряна, вовсе не обязательно признать русский язык главным инструментом творца. На 199-й странице нас стараются убедить именно в этом. Для того, чтобы в романе Чингиза Айтматова прозвучал грузинский мотив, вовсе не было обязательно, чтобы этот отрывок он написал по-грузински. Национальная литература никогда не замыкалась в себе. И Руставели стоял на уровне современной ему мировой культуры, иначе не мог бы опередить свое время, воспевая общечеловеческие гуманистические идеалы. Но для этого не было никакой необходимости писать ему на греческом языке, языке международного общения.

Нас же книга поучает следующим образом: «Любые попытки рассматривать национальное искусство народов СССР обособленно от советского, как «чисто русское», «чисто молдавское» или «чисто узбекское», какими бы доводами о защите «духа нации» и «милой сердцу старине» они ни обосо-

новывались, страдают национальной ограниченностью и наносят ущерб культурному прогрессу народов» (с. 200).

Нет! Культурному прогрессу ни в коей мере не может угрожать национальный характер искусства. Что значит «чисто русское»? Разве поэзия Пушкина «чисто русская», или проза Достоевского? Не существует искусства, ограниченного национальными рамками, но истинное произведение искусства настолько значительно, насколько проявляет национальные качества, отличающие его от других, чем оно и неповторимо, чем и обогащает мировую культуру, не мешает, а, наоборот, способствует «культурному прогрессу народов». Если следовать логике авторов, в искусстве следует стереть не только национальные начала, но и индивидуальность творца. Действительно, почему Маркес не похож на Распутина, Шатров на Шекспира? Рассматривать национальное искусство в отрыве не только от общесоветского, но и мирового никогда не было и не будет оправдано. Тогда непонятно, с кем борются апологеты слияния наций в лице наших авторов.

Вообще следует отметить, что они рассуждают на политические, экономические и другие темы на основе теоретических стереотипов, господствовавших еще в сталинскую эпоху. Поэтому, естественно, и не могли избежать их, рассуждая об искусстве. Вот, например, один из их пассажей: «Определяя советское искусство как социалистическое по содержанию, национальное по форме, нельзя забывать, что и в самих формах происходят существенные изменения» (с. 208).

Так и веет от этих слов запахом ждановско-сусловской плесени. Другой вопрос, насколько оправдано такое разделение содержания и формы, но главное заключается в том, что для национального остается лишь форма, и та, к большому удовольствию наших авторов, меняется **существенно**, то есть, становится ненациональной.

Нельзя так ставить вопрос! Национальность проявляется и в форме и в содержании, и ни одна из этих составляющих существенно не меняется, а лишь обогащается общечеловеческими, если угодно, общесоюзными культурными достижениями. Изменение национального, тем более существенное изменение, означает прием другого национального качества.

Надо отдать должное нашим авторам, они догадались, что слияние языков и появление в результате третьего языка практически не происходит (с. 219). И надо надеяться, им еще предстоит убедиться в том, что практически исключено и появление в результате слияния наций некой новой нации...

Распространение русского языка, в их представлении, не вызывает механического вытеснения других языков — «и именно в этом состоит величие русского народа» (с. 222). Ничего против величия русского народа и русского языка, конечно, мы не имеем, как и против того, что распространение его в республиках явление прогрессивное; оно не может вытеснить и другие языки, если не будет происходить по рецептам, предложенным авторами книги. Но тот факт, что лишь 3,5 процента русских знает язык другого народа страны, тогда как почти 25 процентов русского населения постоянно проживает в других союзных и автономных республиках, наводит на размышления. Будет несправедливо усмотреть в этом со стороны русских какое-то высокомерие, что бросило бы тень на истинное величие народа. Это лишь следствие неправильной национальной политики. И происходит потому, что в республиках где-то абсолютно, где-то частично делопроизводство осуществляется на русском языке, в силу чего необходимость изучения других языков практически отпадает. А это вызывает постепенное обрусение населения, если даже русский народ великодушно против этого.

Всестороннее распространение русского языка в таких условиях приносит не только добро, но и вред. Оно сужает значение языка коренного населения, в лучшем случае оставляет ему функцию языка художественной литературы, но тормозит его развитие в сфере науки и техники. А язык развивается не только благодаря художественной литературе, он является не только средством коммуникации, но и инструментом мышления, а мышление не бывает только «поэтическим». В этой связи характерны хотя бы действия ВАК. Во времена Сталина достаточно было составлять авторефераты диссертаций на русском языке. После того как эта комиссия получила статус более высокой государственной инстанции, она жестче отнеслась к национальным языкам в области науки. В настоящее время и диссертации для утверждения надо представлять на русском языке. В результате в большинстве отраслей науки они пишутся прямо по-русски, исключение составляют, пожалуй, чисто «национальные» работы, которые впоследствии все равно переводятся для представления в ВАК. Не надо доказывать, что вследствие такой практики не только не создается современная научная и техническая терминология, но и теряется то, что было создано нашими предками и, что самое главное, постепенно все труднее формулировать на родном языке новейшие научные положения.

Взаимовлияние и взаимообогащение лексических фондов языков — естественный процесс. Но насильственная языковая экспансия приносит только вред. Это не дает даже привилегированному языку возможность свободно развиваться и обогащаться, наоборот, обедняет его, низводит до какого-то информативного минимума, о чем не без основания бьют тревогу русские писатели. Об этом, в частности, говорила на Пленуме СП СССР Майя Ганина. Около пятисот русских слов вполне хватает всем нерусским для общения, да и для русского этот скудный «запас» практически достаточен...

Мне кажется, не следует забывать уроки истории, тем более горькие уроки. Один из них хотелось бы напомнить. Династия Романовых, расширив свои владения, взяла на себя миссию «третьего Рима», забыв печальную историю двух предыдущих империй. Вспомним историю «первого» Рима. Римская империя занимала большую территорию, чем Россия, и была более многонациональна, чем она. Инструментом, с помощью которого осуществлялось управление огромной империей, был латинский язык, некогда язык малочисленных, но мужественных и талантливых племен, основателей римского государства. По принципу «Divide et impera» шло управление империей и в многочисленных «разделенных» провинциях насаждался латинский язык, безусловно богатый, гибкий, с простым и четким грамматическим строем и с невероятно богатой лексикой, о чем свидетельствует хотя бы современная медицинская, биологическая, юридическая и т. д. и т. п. терминология. На этом языке была создана богатейшая художественная, философская, историографическая литература. Словом, латинский язык имел все основания претендовать на миссию «всемирного языка». Он и выполнял эту функцию и постепенно... умирал! В инородной среде римские правители, полководцы и легионеры, нередко сами полуграмотные, во взаимоотношениях с местным населением насаждали примитивный, поверхностный слой латинского языка, и сами попадали под влияние местных языков и наречий; даже в Риме, метрополии, где большинство населения состояло из разнородных рабов, латынь теряла свою первоначальную мощь и, если «развивалась», то в сторону упрощения и вульгаризации. Живая речь безнадежно отрывалась от литературного языка и постепенно латинский язык распался в странах Европы на разные романские языки. Сегодня в мире нет народа, который говорил бы на латинском языке. Даже в Италии! О чем это говорит? О неизбежной гибели имперского языка! Видимо, язык, несмот-

ря даже на свое величие, создается для одной нации, для родственных племен; есть предел его возможностей и переступить через него смертельно опасно. Вот этого и не учитывали апологеты «третьего Рима». После Октября отпала такая опасность. Но не совсем. Об этом свидетельствует и книга, давшая повод для этих размышлений. Нельзя превращать русский язык «во второй родной язык» (с. 224). Это кощунство! Не существует второго родного языка. Это опасно и для русского языка. Конечно, хорошо, что у нас есть язык межнационального общения — русский, но дело надо поставить так, чтобы в каждой республике делопроизводство происходило на языке коренного населения. Русский язык должен быть языком межреспубликанского общения, а не языком общения внутри республики. Только так можно оградить его от выхолащивания и обеднения. Русский человек, живущий в другой республике, должен говорить с местным населением на его языке. Недостаточное владение им ничем не грозит национальному языку, зато не будет способствовать оскудению родного русского.

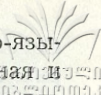
Каждый язык развивается на основе не вполне ясных нам внутренних законов. И своеобразно отражает тот или иной нюанс жизни, может быть, даже незаметный для другого языка. Поэтому и должен иметь возможность свободного развития, ибо это в конечном счете приводит к обогащению и многообразию человеческой культуры, поскольку язык, как было сказано выше, является не только средством коммуникации, но и инструментом мышления.

Но в книге сказано, что «развитие языковой жизни народов СССР происходит не самотеком, а при направляющем и все усиливающемся воздействии со стороны национально-языковой политики КПСС» (с. 226). Именно эта планомерная, «все усиливающаяся» политика и опасна, если ее проводят люди, подобные авторам данного издания, ибо политику создает определенный круг личностей, а языковую культуру весь народ. Столь же пренебрежительно упомянутый «самотек» в действительности истинно демократическое, естественное развитие не до конца раскрытых законов языковой эволюции, а языковая политика — ее искусственное искривление в любом случае, даже если авторы этой политики исключительно гениальные люди.

Какой политики придерживаются наши авторы, можно судить хотя бы из следующих слов: «Заслуживают поддержки и распространения мероприятия в ряде республик, где обучение русскому языку ребят местных национальностей и нацио-

нальному языку ребят русской национальности начинается с пятилетнего возраста еще в дошкольных детских учреждениях» (с. 230). Это страшно! Никак нельзя пятилетнему ребенку, еще не прочувствовавшему мир родного языка и не успевшему развить на его основе навыки логического мышления, мешать в умственном развитии и приобщать к другому языковому и мыслительному миру. Речь идет не об аномалии, не о вундеркиндах или будущих полиглотах, а о нормальных, обыкновенных детях. Педагогическая наука, если она что-нибудь значит для наших всезнающих авторов, категорически против такого эксперимента. Даже в иноязычной школе (не говоря уже о дошкольных учреждениях) дети кажутся умственно отсталыми, для них мучение привыкнуть к неродному языковому, то есть, образному и логическому миру и никто не может оценить урон, который наносится человеку на всю жизнь. А каким будет результат в национальном масштабе? Поэтому не только нельзя поощрять и распространять такую инициативу, о которой говорилось в приведенной выше цитате, но следует строго осудить чистой воды угодничество в педагогике. Какое мы имеем право в угоду пресловутому никому не нужному «слиянию наций» принести в жертву будущее поколение? Что касается хитроумного прикрытия, к которому прибегают авторы, — будто русские дети в детских садах станут изучать языки других братских народов, оно слишком прозрачно, ибо трудно поверить, что эта языковая позиция не является односторонней. Другое дело, когда речь идет о качественном улучшении обучения русскому языку в школах. Кстати, времени, отведенного для этого, более чем достаточно. Я не верю, что 7—8 лет не хватит, чтобы ребенок овладел любым языком. И если у нас это не получается, виноваты не русский язык или дети, а школа!

Читатель, наверное, привык уже к безапелляционному тону и своеобразию рассуждений наших авторов, но нахожу нужным привести еще одну выдержку из книги: «Что же касается творческой интеллигенции, особенно художественной, то для нее национальный язык — нередко (?) основа профессиональной деятельности, и, естественно, поэтому она проявляет особую заинтересованность в распространении национального языка. Важно при этом отличать справедливые, законные требования, вытекающие из правильного понимания новых потребностей прогрессивного развития той или иной национальности, из роста ее культуры и национального самосознания, от тех необоснованных претензий, которые связаны с **искусствен-**



ной, нарочитой драматизацией происходящих национально-языковых процессов и их последствий. Естественная, понятная и обоснованная любовь к родному языку не должна перерастать в языковой шовинизм, способный стать преградой на пути прогрессивной интернационализации всех сторон жизни советских наций и народностей, в том числе и языковой» (с. 130—131).

Да, воистину авторы проявили милосердие, поняв обеспокоенность художественной интеллигенции и соизволили об этом упомянуть в своей глубоко «интернационалистской» книге, но строго нас предупредили, что надо отличать «законные» требования от драматизированно представленных, основанных на «языковом шовинизме». Никто, никогда, нигде, ни один писатель или деятель искусств не отрицал значения изучения русского языка. В чем же проявляется их шовинизм? В том, что беспокоятся об исчезновении национальных школ? Что значит языковая интернационализация? Исходя из позиции авторов издания, это языковая ассимиляция, или, пользуясь их стыдливым термином, — интеграция. Одним словом, этот процесс можно назвать как угодно — еще и денационализацией, деградацией, ликвидацией, но не «интернационализацией». И если писатель выступит против этого, неужели позволительно назвать его шовинистом? Может быть, стоит нацепить на него ярлык «врага народа» и, руководствуясь интересами интернационализма и необходимостью освоения новых земель на Дальнем Востоке и Севере, выслать его туда?

А теперь посмотрим, как понимают авторы книги патриотизм. По их словам — это любовь к родине, истоки которой уходят в многовековую историю народа. «Это чувство... закреплялось существованием на протяжении веков и тысячелетий обособленных отечеств» (с. 233). Но ведь согласно их же утверждению, нация была создана лишь при капитализме. При чем же тогда тысячелетние обособленные отечества? С демагогической убедительностью они могут ответить: нация появилась только вчера, а до этого было что-то другое, и отчизна принадлежала этому «чему-то». Но это не главное. В книге критикуются представители буржуазной идеологии, неправильно понявшие фразу из «Манифеста» Маркса и Энгельса о том, что «рабочие не имеют отечества». Но, кажется, ее неправильно поняли не только буржуазные идеологи, а и некоторые советские идеологи и в том числе и наши авторы (с. 233). Они стараются утвердить мнение, что родиной является, к примеру, не маленькая Грузия, а одна шестая часть мира, называемая

Советским Союзом, что родина — это не этническая территория, а большая часть евроазиатского континента, связанная единой идеологией и общественным строем. Следуя этой логике, получается, что существуют два отечества — социалистическое и капиталистическое, нет ни Англии, ни Франции, ни Японии, так же как и России, Армении, Литвы...

И вот читаем: «В позиции российских коммунистов не было и тени национального нигилизма» (с. 234). Как же и тени не было, когда надвигалась целая туча? Тогда кого и зачем В. И. Ленин назвал «держимордами» в связи с историей «автономизации»? Если меньшевики меньше были заражены бациллами этой болезни, то большевики — больше и, как оказалось, после Октября тоже. Признаки этой болезни, своеобразного национального СПИДа, чувствуются и сегодня, доказательством чего является эта книга, проповедующая будущее слияние наций и поощряющая «интеграцию». Ее авторов не спасает даже то, что они знают отношение классиков марксизма к национальному нигилизму: «Основоположники марксизма прямо указывали на связь национального нигилизма с буржуазным шовинизмом, поскольку отрицание национальностей фактически означало бы их растворение в некой образцовой нации» (с. 237). Чуть ниже следует признание: «В качестве пережитка проявления шовинизма возможны и в социалистическом мире, выражаясь в нежелании считаться с правами малых народов» (с. 238).

Создается впечатление, что авторы этих слов пишут о себе, сами себя осуждают, ссылаясь на классиков марксизма.

Человеком овладевает радость, когда в нем оживают впечатления детства. Именно такое чувство испытал и я, когда прочел очень знакомую фразу: «Ныне советские республики — это процветающие государственные образования» (с. 241) в дальше: «Родина для советских людей — это не только земля, где ты родился, на которой жили деды и прадеды. Это вся наша Отчизна — от Тихого океана до Балтийского моря, от Северного Ледовитого океана до Памира и Кавказа» (с. 242). Признаюсь, мне стало обидно, что не сказано «до Кавказа — включительно», но эта мелкая обида ничто по сравнению с зазвеневшей в моих ушах родной могучей песней Лебедева-Кумача и Дунаевского:

Широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек!

(Это в 30-х-то годах!)

От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
человек проходит как хозяин

(Это в 40-х-то годах!)

необъятной Родины своей.

Всюду жизнь привольна и широка,
точно Волга полная течет...

Эх!..

Давайте будем писать такие стихи, достойные эпохи Сталина и Застоя, писать такие книги, давайте проявлять телачий восторг!

Авторы считают, что национальные особенности останутся надолго и после победы социализма во всем мире (потом, очевидно, исчезнут, кому они нужны!), но мы не должны мешать объективным процессам, которые, по их мнению, означают постепенное исчезновение национальных особенностей (с. 242). Сегодня во всем мире идет процесс самоопределения и консолидации наций, который, насколько я знаю, наша партия приветствует и поддерживает, ибо он препятствует имперским и монополистическим интересам.

Национальный патриотизм рассматривается в книге лишь как часть советского патриотизма (чем малочисленнее нация, тем крохотнее ее патриотизм!). Но ведь одно дело, когда патриотизм ставит себе целью изоляцию народа и превращается в национализм, и совсем другое, когда он обогащается чувством дружбы народов, интернационализмом на благо той же собственной родины. Национальный патриотизм не может быть частью общегосударственного, общеконтинентального, общепланетарного «патриотизма». Грузин не может любить Грузию потому, что она является частью Советского Союза, наоборот, он должен любить Советский Союз потому, что его родина входит в эту федерацию. Основа основ для грузина — любовь к Грузии. Для латыша — к Латвии. Это чувство в человеке живо и тогда, когда он живет далеко от родины. Нельзя монополизировать право патриотизма, нельзя отказать в патриотизме многим нашим зарубежным соотечественникам, любящим Россию, Грузию, Армению, Эстонию, страдающим ностальгией, но не любящих Советский Союз. Патриотизм — это не социальное и классовое чувство, а в первую очередь — этническое, генети-



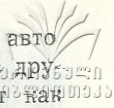
ческое. Нельзя этого упускать из виду. Однако авторы книги не довольствуются и советским патриотизмом, пытаются расширить это понятие до «социалистического патриотизма», ибо «патриотизм социальной и интернациональной общности един» (с. 254). Как вам нравится «патриотизмы» стран Варшавского договора и НАТО?

Вновь возвращаясь к фактам искажения принципов интернационализма в республиках, эти его поборники приводят пример Латвии, где, как выясняется, в Минвузе, Минкультуры и Госкомиздате на руководящих должностях работают латыши, а не русские! (с. 266). Возможно ли упрекать в этом республику? Как может человек, не владеющий языком ее коренного населения, руководить такими национальными ведомствами?

Авторы, конечно, не упускают случая выпятить блага нашего строя, показать негативные моменты межнациональных отношений в прошлом: «Погромы — вот практика, господствовавшая в Закавказье (?), на Украине, Поволжье и других районах России» (с. 269). Пишут о России и в первую очередь указывают на Закавказье, полагая, видимо, что в этом регионе погромы свирепствовали больше. Я не буду говорить о всем Закавказье, но категорически должен заявить: в Грузии на протяжении тысячелетий не было ни одного (ни одного!) погрома негрузинского населения! Авторы не могут назвать ни одного исторического источника, ни одного традиционного устного предания, где имелся бы хоть намек на это. 2600 лет живут в Грузии евреи и не то, что погром, но даже скольконибудь чувствительного притеснения они не испытывали. Именно потому благодарные евреи в Израиле обучают детей грузинскому языку, потому в Израиле существует непонятный другим феномен «грузинского еврейства», выходят на грузинском языке газеты и журналы, функционирует Общество Руставели, грузинские ансамбли песни и танца...

Может быть, за «погромы» принимается подавление царским правительством многократных восстаний грузинского народа, начиная с 1804 года, в течение более чем столетия, вплоть до революционных событий, или беспрецедентный в истории церкви факт, когда русский экзарх предал анафеме свою паству — весь грузинский народ, или репрессии 1924 года и последующих лет? Но все это называется другим словом, а не «погромом»...

В книге обвиняются в национализме и местничестве те руководители республик, которые пытаются как-то противостоять диктату центральных ведомств и заботятся о сохранении



демографической ситуации (с. 273—274). По мнению ее авторов, республика не должна мешать наплыву населения из других республик. Республику они все-таки воспринимают как «заготовительную контору» (Р. Гамзатов), а не как национальную единицу. Их вовсе не огорчает такое положение, когда переселенные представители других народов не в полной мере являются патриотами той республики, где живут. Но, вероятно, авторы должны задуматься и над тем, что у этих людей приглушено чувство и общесоветского патриотизма. Вот в чем главная причина того, что из республик на «стройки века» в основном едут представители не других народов, а нации, «давшие название республике». Такое положение способствует ускорению процесса слияния наций и поэтому оценивается авторами книги хорошо, хотя они огорчаются, когда создаются условия для того, чтобы ту или иную республику покинули представители других народов. Они критикуют руководство Казахстана, допустившего при приеме в вузы увеличение процента молодежи казахской национальности (с. 276), вследствие чего многие неказахи едут для получения образования в другие республики и иногда навсегда там остаются. Между тем, упрекая писателей в драматизации национального вопроса, авторы книги воспринимают чуть ли не как трагедию отток из республик некоренного населения. По-моему, в том, что больше казахов получают высшее образование в Казахстане и останутся жить в своей республике, а оттуда уедет часть некоренного населения, нет ничего трагического.

А вот как характеризуется в книге образ жизни советского народа: «Наш образ жизни — это трудовой образ жизни» (с. 289). Я не совсем уверен, что, например, капиталистической Японии трудовой образ жизни чужд. Когда мы бодро перевыполняем пятилетние планы, думая лишь о том, как победить в соцсоревновании, чем тогда же занимаются японцы — пьют саке? Не хватит ли утверждать, будто мы лучше всех?.. Что-то не видно, чтобы мы процветали, благодаря нашему «трудовому образу» жизни. Скорее всего наоборот: люди отвыкли от труда, опустели деревни, о них создаются лишь ностальгические стихи, но стихи, как известно, невозможно ни сеять, ни доить, хотя во многих из них немало влаги... Мы привыкли к тому, что когда пишут книги такого характера, теоретики не очень-то наблюдают за жизнью, но что-то все же читают. Видимо, наши авторы не любители чтения, в противном случае они в условиях гласности могли бы много поучительного почерпнуть в печатной продукции.

Теперь об одном пикантном моменте в книге: «Социальная значимость межнациональных браков очевидна; они взламывают предрассудки прошлого там, где последние сохраняются, больше всего — в сфере быта, брачно-семейных отношений... Мы торжествовали (?) по поводу национально-смешанных браков, но старались не замечать, с каким трудом они подчас совершались, закрывали глаза на то, как много их распадалось... Представляется, что назрела необходимость заняться основательно изучением особенностей семейных отношений в республиках и лучшее в этих отношениях попытаться обобщить и сделать достоянием общественности» (с. 308—309).

Грузинский телезритель хорошо помнит комическую ситуацию, в которую попал политический (!) обозреватель Центрального телевидения В. Цветов и его последующие извинения по данному вопросу. Как видно, такое навязчивое мнение об интернациональном значении смешанного брака для многих «радетелей интернационализма» не случайно. В связи с этим представляют определенный интерес воспоминания Ф. Бурлацкого «После Сталина», где говорится о работе группы специалистов над составлением проекта новой Программы партии: «Петр Николаевич (академик П. Н. Федосеев.—Р. М.) иной раз привозил с собой двух-трех философов для вставок, иными словами, отдельных предложений в соответствии с их профессиональной ориентацией. Один из таких философов, армянин по национальности, женатый на русской, замучил нас вставками по поводу развития национальных отношений в стране путем поощрения межнациональных браков. Ему представлялось это главным средством сближения или даже слияния наций. Он настойчиво и даже настырно пытался пропихнуть за общим редакционным столом свои вставки и изрядно надоел всем, даже уравновешенному и спокойному Петру Николаевичу. Тот как-то попросил меня взять предлагаемые страницы и, отредактировав их, вернуть за общий стол. А я, вместо того, чтобы заниматься текстом, который считал совершенно непригодным, решил ограничиться шуткой и к сакраментальной формулировке автора «лучшим путем для сближения наций является развитие брачных отношений» добавил: «и иных форм половых отношений между представителями разных наций». Когда эта формула была зачитана за общим столом, она вызвала гомерический хохот, и Петр Николаевич, невзирая на горячие протесты, выбросил весь текст целиком без всякой жалости» («Новый мир», № 10, 1988, с. 192).

К сожалению, Ф. Бурлацкий не называет фамилию этого

философа, но я не удивлюсь, если им окажется один из наших авторов. Во всяком случае, в его духовном родстве с незадичливым философом не сомневаюсь.

Мне кажется, что эти записки получаются довольно односторонними. Недостаточна одна лишь критика, следует дать и совет. Вот я и советую, пусть первейшими интернационалистами считаются шахи и султаны, которые имели сотни жен самых разных национальностей. Кроме того, наши авторы должны признать: если «смешанные» браки — это признак интернационализма, то, следовательно, внутринациональные — признак национализма. Я одного только не понимаю и вынужден сам задать вопрос: если между супругами разных национальностей возникнет несогласие, следует ли это считать «региональным конфликтом» и разрешать его на Генеральной ассамблее ООН? Пока мы получим ответ на этот вопрос, покаюсь: незаслуженно мы порицали проституток, приезжающих на Черноморское побережье. Оказывается, они трудились для укрепления дружбы народов!

По логике авторов, идеальный грузин должен быть примерно таким: мать у него русская, жена — армянка, невестка — калмычка, зять — белорус, жить он должен в Узбекистане, может любить Грузию, но еще крепче — Молдавию...

В заключение приведу еще одну цитату: «Широкое хождение в западной политологии получило стремление отождествить политику сближения наций, которой придерживается КПСС, с насильственной ассимиляцией народов и колонизацией бывших национальных окраин» (с. 313). Им, западным политологам, советский народ представляется как «супернация советско-русского типа» (с. 313).

Не думаю, что после прочтения этой книги западные политологи изменят свое мнение. Скорее всего оно укрепитя. Если политика сближения народов проводится теми средствами и методами, о которых говорится в ней, в частности, максимальным смешением наций путем миграционных процессов, торжеством по поводу «смешанных» браков, максимальным ограничением прав республик, подчинением национальных интересов (при необходимости и пожертвованием) государственным, односторонне понятым национализмом, проявлением национальной замкнутости, местничества, эгоизма и кичливости — такими политическими ярлыками, которыми можно заклеить любую попытку защиты национальных интересов, — то не удивительно позиция западных политологов, поскольку все это является ассимиляцией, а не сближением народов. Почему мы

вводим в заблуждение западных политологов, пытаюсь объяснить массовую миграцию интересами нации? Русские императоры не были ни коммунистами, ни беспартийными большевиками, когда в массовом порядке переселили в Грузию так называемых «духоборов», и не в интересах интернационального воспитания Шах-Аббас десятки тысяч грузин переселил в Иран, а Грузию заселил тюркскими племенами борчалу. И все же из боязни перед нашими авторами я не осмелюсь не считать его интернационалистом, памятуя об его многонациональном гареме...

Но, к великому нашему счастью, то, о чем рассказывается в штудируемой мной книге, не является ленинской национальной политикой; это только искажения этой политики, искажения, происходящие реально, проводимые и Сталиным, и Хрущевым, и Брежневым. Но это не вина русского народа, терпевшего все эти беды не меньше любого другого.

Напоследок хочу попросить извинения у читателей. Я обещал им выполнить роль зеркала, чтобы прочесть книгу в зеркальном отображении. Не смог выполнить своего обещания. Книга состоит из 350 страниц, мое «зеркало» гораздо меньше, пришлось обойти много вопросов, пропуская на каждой странице, в каждой строке перлы мудрости...

Как видим, картина, нарисованная авторами, весьма удручающая, хотя сами они ею восторгаются. Откровенно говоря, меня удивила дата выпуска книги — 1988 год. Именно в этот год, в условиях перестройки и гласности, выпуск такой книги мне казался невозможным. Я бы не удивился, если бы она была датирована, скажем, 37-м, или хотя бы, скажем, 84-м годом. Но 1988-й...



К трагическим событиям 9 апреля в Тбилиси

В связи с событиями 9 апреля в республиканской прессе был опубликован ряд писем и обращений общественности в высшие инстанции. В обращениях выражены точки зрения различных кругов нашей многонациональной общественности. Редакция, имея целью дать читателям максимальную информацию о происшедшем, сочла целесообразным опубликовать основные из этих обращений.

**Генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии
Советского Союза,
Председателю Президиума Верховного
Совета ССР тов. М. С. ГОРБАЧЕВУ**

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Вам, всей мировой общественности известен варварский акт, совершенный частями Советской Армии в г. Тбилиси 9 апреля с. г. в 4 часа утра при разгоне участников несанкционированного митинга.

Вам известно и то, что итогом его явилось на сегодняшний день 18 убитых, из них 14 женщин, — на сегодняшний день, ибо из 150 госпитализированных раненых положение многих признаю безнадежным.

У нас, однако, складывается впечатление, что для Вас, тем не менее, остается неизвестной подлинная суть случившегося, так как совершившие эту постыдную акцию с первых же минут попытались создать искаженное представление о ней.

Грузинский народ вновь заставили ощутить не только то, что он «младший брат», но и то, что в любое время он может быть стерт с лица земли.

Не меньшим злом является и то, что информационная программа Центрального телевидения «Время» не только исказила картину трагедии, но ввела в заблуждение общественность страны, враждебно настроив ее по отношению к грузинскому народу. Как, если не циничной, злой насмешкой считать фразу о том, что специально обученные для подобных случаев солдаты, якобы оказывается, «с особой заботой старались не причинять вреда женщинам и детям»?!. Очевидно, эта чрезмерная «забота» стала причиной того, что самой младшей из зверски убитых женщин — шестнадцать лет, самой старшей — семьдесят!..

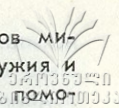
Как следует понимать тот факт, что разгон участников митинга был доверен не местной милиции? Более того, многим милиционерам также преднамеренно были нанесены тяжелые ранения, — с тем, чтобы затем обвинить в этом собравшихся на митинг.

В ту поистине варфоломеевскую для Тбилиси ночь солдаты избивали безоружных людей остро заточенными лопатами и цепями с возгласами: «Это вам за Сталина!»

Эта омерзительная акция совершена в дни, когда мы гордимся перед всем миром происходящими в нашей стране революционными процессами демократизации и все расширяющейся гласности. К сожалению, она совпала по времени с окончанием мирной миссии — Вашего исторического зарубежного визита... И у нас есть основания считать, что ее совершили враги перестройки, Ваши личные противники. Тбилисская акция не укладывается в рамки никакой юридической статьи или параграфа; никто из участников митинга или голодовки не был заранее оповещен о возможных последствиях. Разумеется, предупреждения были, но звучали они настолько расплывчато, общо, что в условиях демократии и гласности никто не смог бы себе представить разыгравшуюся вскоре перед Домом правительства ужасную бойню.

И разве не подтверждает сказанного тот факт, что для разгона участников митинга не были использованы средства, известные в практике систем охраны порядка всех цивилизованных государств мира (водометы и др.), а сразу же применили изуверские способы насилия?!

Вероятно, для самооправдания перед Вами и во имя «спа-



сения» чести советской демократии разгонявшие участников митинга решили обойтись без применения огнестрельного оружия и расправлялись с ними невиданным доселе способом — с помощью остро наточенных саперных лопат, — с тем, чтобы потом заявить: участники, дескать, были рассеяны без применения оружия! И сколь же наивны были наши юноши и девушки, встретившие неожиданно ворвавшиеся войска сидя на земле и полагавшие, что в таком положении к ним не будет применено насилие. Но убийцы — оказавшиеся к тому же пьяными — нагрянули не столько для разгона участников митинга, сколько для их избивания, не щадя даже убежавших, настигая их и нанося им тяжелейшие, опасные для жизни ранения.

Впоследствии выяснилось, что было применено и химическое оружие. Но врачи были не в состоянии лечить пораженных им, не зная его состава и напрасно ожидая хотя бы минимальных разъяснений по поводу этого...

И как же горько было читать наутро опубликованное в прессе обращение Центрального Комитета Компартии Грузии и ее правительства к трудящимся и молодежи республики! Оно явилось очередной насмешкой над погибшими и ранеными — жертвами только что утихомирившейся бойни, над всем грузинским народом.

А цепь зверств продолжалась. 9 апреля в 23 часа по телевидению выступил главнокомандующий войсками ЗакВО и заявил о введении в городе комендатского часа с того же мгновения — с 23 часов. На улицах сразу же вновь вспыхнуло избивание людей, разгром автомашин, поднялась стрельба. Тяжело пострадали четыре человека, двое из них скончались.

Что это было?

Неужели главнокомандующий не мог выступить по радио и телевидению хотя бы на час раньше? Конечно, мог. Но в этом случае распоясавшиеся изверги не нашли бы на тбилисских улицах поживы, не смогли бы нам продемонстрировать свое всемогущество и вседозволенность!

Уважаемый товарищ Генеральный секретарь!

Вместо того, чтобы выразить хотя бы подобие сожаления о случившемся, организаторы преступления уже предпринимают попытку замести истинные причины гибели людей. Они пытаются с помощью «экспертизы» доказать, будто бы их смерть была вызвана не пущенными в ход острыми лопатами и цепями, а образовавшейся давкой, вследствие которой ими были якобы получены смертельные травмы. Люди уже не верят официальным экспертам, а главное — уже официально распространяется достаточно

испытанная «версия», согласно которой зачинщиками происшедшего явились молодые участники митинга, первыми ранившие холдным оружием одного из солдат!

Глубокоуважаемый товарищ Генеральный секретарь!

Писатели Грузии, выражая волю грузинской общественности, всего грузинского народа, обращаются к Вам с категорической просьбой дать распоряжение о неотложном расследовании всех преступных обстоятельств случившегося, о разоблачении и суровом наказании всех виновных в этой акции.

Мы категорически требуем, чтобы Центральное телевидение в ближайшее время осветило истинную суть происшедшего, обличило тех, кто ввел в заблуждение редакцию программы «Время» и по чьей вине грузинскому народу, которого постигло несчастье, было нанесено тяжелое оскорбление на глазах советской и мировой общественности.

Мы также категорически требуем, чтобы разыгравшейся в Тбилиси кровавой акции была дана надлежащая оценка и обобщение и чтобы было прямо сказано о том, насколько она укладывается в рамки нашей советской демократии, перестройки и гласности.

**Обращение подписывают около трехсот членов
Союза писателей Грузии.**

Однажды случившееся не должно повториться

ЗАПРОС НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Нас пятерых вызвал в Тбилиси народный депутат СССР Эльдар Шенгелая, так же, как мы, недавно избранный от Союза кинематографистов СССР. Он просил составить мнение о событиях, произошедших в столице Грузии в ночь с 8 на 9 апреля, и сделать это достоянием общественности. Свою поездку в Тбилиси мы рассматриваем в свете той новой роли общественных организаций, которая обусловлена их нынешним представительством в парламенте страны.

В столице Грузии мы встретились с представителями творческой интеллигенции и депутатами Верховного Совета республики. Среди них — свидетели трагических событий. Выслушали министра здравоохранения Ираклия Менагаришвили и опросили более двадцати пострадавших, которые находятся сейчас на излечении в боль-

нице. Побывали в семьях погибших, пройдя вместе с тысячами и тысячами тбилисцев в скорбной очереди прощания. Повидались с журналистами местных газет и работниками внутренних дел. В конце поездки имели продолжительную беседу с членом Политбюро ЦК КПСС Эдуардом Шеварднадзе, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС Георгием Разумовским, вновь избранным первым секретарем ЦК КП Грузии Гиви Гумбаридзе.

То, что произошло в Тбилиси в начале пятого года перестройки, нужно разделить на две взаимосвязанные части. Первое — это страшная беда и горе, которые обрушились на народ Грузии, посылающий сегодня проклятия всем, кто виновен в убийстве девятнадцати его дочерей и сынов, а также в безжалостном избивании и отравлении сотен людей на площади перед Домом правительства. Второе — это те уроки, которые должны извлечь перестройка, все мы, и особенно партийные, государственные органы, наши руководящие кадры из этой трагедии.

Перестройка, и это стало ясно не сегодня, а гораздо раньше, сопровождается острыми конфликтными ситуациями в обществе. Они порождаются не самой перестройкой, а десятилетиями загонявшимися вглубь противоречиями, несправедливостями, нерешаемыми и даже необсуждаемыми проблемами социального и национального характера. И с самого начала должно было быть ясно: все эти конфликты в условиях гласности выйдут наружу. Сегодня можно услышать о том, что к такому повороту событий управленческие структуры не были готовы. Похоже, что это правда. Однако это не оправдание, а непростительное политическое легкомыслие. Если это еще можно было как-то понять в первые год-два, то сегодня не может быть никакого снисхождения при оценке этой неподготовленности. Мы твердо уверены: если бы в Тбилиси проводилась продуманная, заблаговременная работа, если бы руководство республики имело отчетливую, пронизанную гуманизмом позицию, конкретную программу мер и действий в отношении неизбежных в ходе перестройки конфликтов, можно было бы избежать кровопролития, гибели людей.

Возникает ряд вопросов, которые все еще остаются без ответа.

Кто и почему всякий раз принимает решения о том, что в моменты острых столкновений целесообразно отключать гласность, как отключают в моменты аварий поворотом рубильника электричество?

Так было и в Тбилиси, где все материалы журналистов подвергались жесткой цензуре. Сами же факты, свидетелями которых были десятки тысяч людей, откровенно искажались. Сообщалось,

например, что войска не применяли оружие, но всем было известно, что в ночь с 8 на 9 апреля выстрелом в висок навывлет ранили молодого человека, который лишился обоих глаз. Публиковалась цифра пострадавших тбилисских милиционеров, но умалчивалось главное: они пострадали не от населения, а от солдат, защищая от избиения своих сограждан. Министр здравоохранения республики в интервью программе «Время» говорил, что при разгоне демонстрантов солдаты пустили в ход лопаты, применили отравляющие химические вещества, — все это было изъято из его интервью. Делалось все возможное, чтобы скрыть трагедию, найти оправдание руководителям республики, даже после того, когда они сами вынуждены были подать в отставку.

Нужно прямо сказать: на сегодняшний день гласность не является тем гарантом необратимости перестройки, каковым она может и обязана быть. Мы считаем, что сохранение механизма произвольного обращения с гласностью представляет собой чрезвычайную опасность для всего процесса демократического обновления.

Другой важнейший момент и урок событий в Тбилиси — это отношение к неформальным объединениям, особенно к тем из них, которые стоят на крайних позициях. Мы имели встречи с молодыми людьми, придерживающимися таких взглядов. Позиции их во многом уязвимы, недостаточно доказательны. Мы имеем здесь нередко дело с заблуждениями, ложными уверенностями. Эти группы действуют уже определенное время, а партийные работники, включая крупных руководителей, не сочли нужным вступить с ними в диалог.

Такой диалог надо уметь вести, надо обладать определенными знаниями, навыками, а самое главное, не бояться говорить на любую тему. Между тем, у нас опасаются — да нет, как огня бояться — даже упоминания о том, что есть люди, которые ратуют за выход Грузии из состава СССР. Сам страх перед лицом этого вопроса как такового уже обеспечивает сепаратистам огромное преимущество, особенно в молодежной среде. Молодежь, прежде чем вникать в содержание того или иного вопроса, реагирует негативно на самую боязнь обсуждать острые вопросы. Этой трусости им вполне достаточно, чтобы полностью доверять неформалам.

Здесь мы соприкасаемся с неподготовленностью наших партийных идеологов к ведению такого рода диалогов. В данном, конкретном случае эта неподготовленность кадров, их интеллектуальная и гуманистическая ограниченность и привели к тому, что они вызвали войска для разгона, в сущности, мирной демонстрации,

на которую собрались люди самых разных воззрений, не исключая и крайних, однако там были и многие коммунисты.

К тому моменту, когда на эту демонстрацию двинулись нетранспортеры и солдаты, это была демонстрация солидарности против такого способа обращения с народом. Людей не предупредили, что принимается крайнее решение, и даже после того, как оно было принято, ничего людям не сказали. Разве был хоть какой-то смысл в проведении такой тайной операции против тысяч своих сограждан? Руководители республики не обратились непосредственно к участникам демонстрации накануне зловещего утра. Пусть это были люди заблуждающиеся, но это были люди, живые люди, в массе своей молодежь, дети — разве они не заслуживали того, чтобы им было известно, какие применят против них средства? Чем честнее обо всем этом было бы сказано, тем больше было бы шансов, что не случилась бы трагедия.

А разве руководителям республик, уж коли они на такое решились, не следовало заранее встретиться с солдатами, которым предстояла эта чудовищная «работа», поговорить, объяснить, о чем и о ком идет речь, не передоверять предварительный инструктаж исключительно военным командирам, прибывшим неизвестно откуда? Ведь и эти молодые люди, солдаты, тоже наши дети, и они тоже должны были быть обережены от ожесточенности, и это тоже должно было быть заботой не только их командиров, но и руководителей республики.

Все здесь было бесчеловечно. Это ясно уже сейчас, хотя тщательное расследование конкретной вины военных и партийно-государственных руководителей еще не закончилось. Демонстрантов не разгоняли, а избивали, перекрыв выходы с площади. Тех, кому удалось вырваться, преследовали, продолжая избивать. Почему в ход пошли саперные лопатки? Почему применили слезоточивые и еще какие-то неизвестные химические средства? Почему до сих пор все это отрицается, несмотря на очевидность, и даже не выражается желание точно назвать тбилиским медикам данные о составе примененной «химии», чтобы облегчить эффективность лечения пострадавших? Задумался ли кто-нибудь о том, как от всего этого меняется не в лучшую сторону отношение к армии, к советскому солдату? Даже комендантский час не удосужились объявить нормально, заблаговременно, а сделали это за считанные минуты перед его введением, в результате похватили сотни людей, а одного тбилисца убили, застрелили, когда он, проезжая на машине, не остановился по требованию патрулей.

Мы прилетели в Тбилиси уже после вступления в силу комендантского часа. От аэропорта до гостиницы «Иверия» нас оста-

навливали для проверки документов и досмотра десятков раз, иногда буквально через пятьсот метров, как будто в Тбилиси были обнаружены вооруженные антисоветские банды и необходимо принимать такие меры.

В целом во всей этой операции настораживает тенденция устремления. И нам действительно стало страшно — не за себя персонально, а за судьбу демократического обновления, за судьбу перестройки. Возможно, мы несколько преувеличиваем, дай-то бог, чтобы так было, но нам во всем произошедшем в Тбилиси привиделась некая модель возможного пресечения перестройки как таковой. Отсутствие точных законодательных норм на случай чрезвычайных ситуаций открывает безграничные возможности для принятия произвольных, неконтролируемых решений, имеющих непредсказуемые последствия.

Одно дело — защита перестройки, ее демократических устремлений от опасных действий экстремистов и совсем другое — сокрушение веры в перестройку под видом ее защиты. Тут нужна отчетливо прочерченная разграничительная линия. Нам как людям, которым предстоит участвовать в работе первого Съезда народных депутатов СССР, совершенно ясно, что те решения, которые были приняты в последнее время для защиты перестройки, нуждаются в пересмотре — и уж наверняка в отчетливой конкретизации, уточнении буквально всего, начиная от оснащения спецчастей, программ их обучения и воспитания и кончая процедурами оповещения, предупреждения, строжайшей ответственности за нанесенные увечья, не говоря уж об ответственности за гибель людей.

Все случившееся в Тбилиси должно быть тщательно «расследовано и исследовано» — об этом говорили в беседе с нами Э. Шеварднадзе и Г. Разумовский. Мы считаем, что материалы этого «расследования и исследования», в котором должны принять участие представители общественности, народные депутаты, следует рассмотреть на предстоящем первом Съезде народных депутатов СССР. Эти материалы должны послужить основой для разработки законов, которые действительно, подлинно будут перестройку защищать, а не представлять для нее смертельную опасность.

Народные депутаты СССР:

**Михаил БЕЛИКОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ, Александр ГЕЛЬМАН,
Дмитрий ЛУНЬКОВ, Эльдар ШЕНГЕЛАЯ, Егор ЯКОВЛЕВ.**

Журналисты Грузии требуют!



24 апреля было проведено открытое собрание партийной организации Союза журналистов Грузии, в которой объединено также большинство собственных корреспондентов центральных газет.

На собрание были приглашены министр здравоохранения Грузинской ССР И. Менагаришвили и профессор З. Кахиани.

Партийное собрание, конечно, привлекло и определенную часть журналистов. На нем состоялся откровенный разговор о трагических событиях, происшедших 9 апреля в Тбилиси. Единственно отмечалось, что эти явления были очень тенденциозно освещены всесоюзной прессой и телевидением. Особое возмущение вызывают ложные информации газет «Красная звезда», «Советская Россия», «Медицинская газета», информационной программы «Время» и других средств информации.

И. Менагаришвили и З. Кахиани рассказали журналистам о том, какая работа проводится медицинской службой республики для улучшения состояния здоровья пострадавших. Необходимо поставить в известность общественность о том факте, отметили они, что отравляющие вещества, примененные на проспекте Руставели, являются как моментального, так и замедленного действия. Об этом свидетельствует и то, что люди с признаками отравления и сейчас еще обращаются в медицинские учреждения Тбилиси.

Особое возмущение вызвано тем, что, несмотря на неоднократные обращения Минздрава республики и общественной медицинско-экспертной комиссии, командование войсками Министерства внутренних дел СССР отказывается назвать вид отравляющего вещества, примененного в Тбилиси, и, более того, вообще отрицает сам факт применения отравляющих веществ.

Эта настоящая дезинформация, направленная на то, чтобы скрыть следы злодеяния, наносит удар делу перестройки.

В зал собрания ввели мать одного из отравленных юношей, которая убедительно просила присутствующих предпринять что-либо для спасения жизни ее сына и многих молодых людей, лежащих в больнице вместе с ним...

Гости ознакомили журналистов с обращением, посланным на имя Генерального прокурора СССР, текст которого приводится ниже:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Тов. СУХАРЕВУ А. Я.

Копии: Временной комиссии Верховного Совета Грузинской ССР по расследованию трагических событий 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси; Московской общественной комиссии содействия грузинской общественности в расследовании событий 9 апреля; средствам массовой информации; Министерству обороны СССР; Министерству внутренних дел СССР.

Для изучения обстоятельств, связанных с трагическими последствиями разгона мирной демонстрации в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года, в результате которого погибли и пострадали многие ни в чем не повинные люди, при Министерстве здравоохранения Грузинской ССР была создана Общественная медицинская экспертная комиссия, состоящая из специалистов-медиков, представителей Академии наук ГССР, общественных и неформальных организаций, рабочих, интеллигенции Грузии.

При анализе клинической картины поражения пострадавших был сделан бесспорный вывод о применении для разгона митинга отравляющих химических веществ НЕИЗВЕСТНОГО СОСТАВА.

С помощью видных специалистов: руководителя Всесоюзного центра лечения острых отравлений (г. Москва) профессора Лужникова Е. А., ст. научного сотрудника этого же центра, кандидата медицинских наук Поцхверия М. М. и заведующего клиническим отделом НИИ Гигиены и профпатологии МЗ СССР (г. Ленинград) — профессора Мусийчука Ю. И. удалось установить группы указанных веществ. Ими же зафиксирован диагноз «острые отравления раздражающими газами и холинолитиками» разной степени тяжести, в том числе тяжелой.

В процессе изучения причин гибели и характера поражения пострадавших выявлены обстоятельства, вызвавшие возмущение и негодование членов комиссии, требующие Вашего немедленного и принципиального вмешательства:

1. Установлен факт нанесения митингующим ран острыми предметами, в одном случае со смертельным исходом от рубленой раны головы.

2. На основании заключения экспертов-токсикологов, а также наблюдений врачей-клиницистов, анализа данных многодневных наблюдений за лицами, находящимися на стационарном лечении, и лицами, получившими амбулаторную помощь в токсикологическом центре г. Тбилиси общим числом более 600 человек, считаем возможным со всей определенностью заявить, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси, при разгоне мирной демонстрации, наряду со

слезоточивыми газами были применены отравляющие вещества центрального нервного воздействия холинолитического характера.

Применение подобных веществ, особенно в условиях, ствующих их воздействию в повышенных концентрациях, может привести как к смерти, так и к отдаленным тяжелым осложнениям в основном со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Считаю, что применение любых химических отравляющих веществ против участников мирных демонстраций или митингов недопустимо и бесчеловечно!

3. Особую душевную боль и недоумение вызывает то, что, несмотря на многократное обращение к представителям командования ЗакВО и войск МВД СССР с просьбой предоставить информацию о примененных отравляющих веществах с целью проведения специфического, целенаправленного лечения пораженных, представители ЗакВО отвечали отказом, поскольку никакие химические средства не входят в число штатных табельных средств Советской Армии. Представители же войск МВД СССР под давлением неопровержимых доказательств признали применение лишь хлорацетофенона (слезоточивого газа), заявив, что его действие длится лишь пятнадцать минут, а легкие следы отравления могут отмечаться на протяжении не более 6 часов и проходят бесследно для здоровья пораженных. Тем самым они исключили необходимость проведения специфического лечения. Однако в свете имеющихся на сегодняшний день объективных данных заявление представителей командования войск МВД следует рассматривать как дезинформацию, направленную на сокрытие преступных фактов.

Видимо, не случайно в эти дни газеты «Красная звезда» (орган МО СССР) и «Ленинское знамя» (орган ЗакВО), описывая события 9 апреля в Тбилиси, начисто отвергали применение отравляющих веществ и саперных лопат, изображая дело так, будто сведения о применении отравляющих веществ являются не отражением реальных событий, а фабрикуются некоторыми представителями местного населения с целью разжигания националистических настроений.

Комиссия считает, что причины смерти и характер поражений пострадавших свидетельствуют об антиконституционном, противоправном характере действий воинских подразделений, участвовавших в разгоне мирной демонстрации в г. Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года.

Ответственность за эти преступления целиком и полностью ложится на организаторов акции насилия.

Члены общественной медицинской экспертной комиссии:
Абесадзе Арчил — врач, Общество Руставели; **Вашакидзе Ми-**

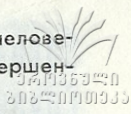
хаил — гл. токсиколог Минздрава ГССР, канд. мед. наук; **Габашвили Владимир** — невропатолог, профессор; **Гомартели Заур** — Союз журналистов Грузии; **Гудушаури Отар** — травматолог, академик, народный депутат СССР; **Гуладзе Рамаз** — кан. мед. наук, Народный фронт; **Деканосидзе Тамар** — патологоанатом, член-корр. АН ГССР; **Джавахишвили Нино** — академик АН Грузинской ССР; **Заалишвили Малхаз** — академик АН Грузинской ССР; **Имедашвили Коба** — критик, член Союза писателей Грузии; **Кахиани Заал** — хирург, профессор; **Кемертелидзе Этери** — член-корр. АН ГССР; **Кипиани Горда** — рабочий; **Лежава Гела** — нарколог, доктор мед. наук; **Ломая Темур** — кан. мед. наук, от Общества И. Чавчавадзе; **Нанеишвили Бидзина** — психиатр, академик АН Грузинской ССР; **Орджоникидзе Иза** — поэт, Общество Руставели; **Саришвили Отари** — студент медицинского института; **Сахвадзе Константин** — студент медицинского института; **Сигуа Отар** — нейрохирург, профессор; **Туманишвили Гиви** — член-корр. АН ГССР, Народный фронт; **Топурия Заза** — патологоанатом, профессор, Общество Руставели; **Хонелидзе Реваз** — хирург; **Хуцишвили Гурам** — гематолог, доктор мед. наук, Народный фронт; **Чумбуридзе Бидзина** — фармакохимик, профессор.

Открытое собрание партийной организации Союза журналистов Грузии от имени журналистов республики полностью поддерживает обращение членов общественной медицинско-экспертной комиссии и, публикуя его в республиканских газетах, ждет незамедлительного реагирования на него руководства МВД СССР и Союза журналистов СССР.

Запрос народных депутатов СССР от Союза архитекторов СССР и Союза дизайнеров СССР

Мы, шестеро народных депутатов СССР, тщательно ознакомившись с положением дел и с большим количеством материалов, отражающих страшную трагедию, происшедшую в Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля, полностью присоединяемся к запросу народных депутатов СССР от Союза кинематографистов СССР и обращению Академии наук к Пленуму ЦК КПСС и Президиуму Верховного Совета СССР «Перестройка в опасности».

Мы решительно осуждаем неслыханный по жестокости акт насилия, когда под предлогом разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации было совершено беспрецедентное



массовое избиение невинных людей, повлекшее за собой человеческие жертвы, в основном женщин, среди которых несовершеннолетние, пожилые, беременная.

Воинскими подразделениями против мирной демонстрации наряду с дубинками были применены саперные лопатки, химические отравляющие вещества, бронетехника.

Поддерживаем требование провести всестороннее расследование событий и предать гласному суду как прямых виновников преступлений, так и лиц, отдавших соответствующий приказ.

Считаем возмутительным тот факт, что средства массовой информации, включая центральные газеты «Правда» и «Известия», телепрограмму «Время», зачастую тенденциозно и ложно освещают события, цинично утверждая, что люди стали жертвой «возникшей давки», а подразделения войск якобы «строго выполняли инструкции о неприменении оружия, о мерах предосторожности, особенно к женщинам и подросткам». Все это звучит как издевательство.

Мы считаем, что перестройке, дальнейшей демократизации страны был нанесен коварный, хорошо рассчитанный и поэтому особенно опасный удар, который, волей или неволей, поддержали пресса и телевидение, зачастую распространяя дезинформацию, сея и разжигая национальную рознь, поддерживая антиперестроечные силы.

Мы требуем, чтобы все материалы расследования и исследования событий в Тбилиси были рассмотрены на предстоящем Первом съезде народных депутатов СССР и предприняты безотлагательные акции, направленные на достижение законодательных гарантий против возможности повторения аналогичных трагических событий.

Юрий ПЛАТОНОВ — первый секретарь правления Союза архитекторов СССР,

Арцвин ГРИГОРЯН — председатель правления Союза архитекторов Армении,

Нодар МГАЛОБЛИШВИЛИ — председатель правления Союза архитекторов Грузии,

Ирина РАУД — заместитель председателя правления Союза архитекторов Эстонии.

Юрий СОЛОВЬЕВ — председатель правления Союза дизайнеров СССР,

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ — председатель правления Союза дизайнеров Грузии.

Заявление Комиссии Верховного Совета Грузинской ССР по расследованию обстоятельств, имевших место 9 апреля 1989 г. в городе Тбилиси



Происходящее в г. Тбилиси после событий, имевших место 9 апреля, не объяснить существованием так называемой экстремальной ситуации и требует соответствующей политической и юридической оценки.

Одним из требований военных и официальных властей для упразднения в городе комендантского часа было возобновление учебного процесса в школах и вузах. Это требование было выполнено, что и привело впоследствии к массовому отравлению школьников и студентов в зданиях школ и вузов, расположенных вблизи от места происшествия.

29 апреля было решено перенести официальные траурные церемонии от площади перед Домом правительства к Сионскому храму. При переносе венков и цветов вновь имели место массовые отравления граждан.

Лица, с ведома и по указанию которых были применены отравляющие химические вещества 9 апреля в г. Тбилиси, несомненно, предвидели и, если не желали, то по крайней мере сознательно допускали наступление массовых отравлений детей и подростков, когда требовали возобновления занятий в классах и аудиториях. Только им было известно о применении в тот день таких отравляющих веществ, которые могут привести к тяжким последствиям даже спустя 20 дней после их применения, причем в местах открытых и хорошо вентилируемых.

Во время действия комендантского часа военные власти могли произвести дезактивацию территории, на которой были применены отравляющие химические вещества, однако этого не было сделано, чем и было предрешено наступление весьма тяжелых последствий.

Общее число отравленных граждан превышает 2.000 человек.

Положение усугубилось и тем, что даже после официального признания применения отравляющих веществ соответствующие власти не сообщили их состава, а также не выдали необходимых лекарственных средств, тем самым крайне затруднилось проведение эффективного лечения тяжелобольных. Это обстоятельство вызва-

ло всеобщее возмущение и негодование населения республики. Группа молодых людей объявила по этому поводу голодовку.

Вышеизложенные факты содержат признаки преступления против человечности, которое можно отнести к разряду международных преступлений.

Здравый смысл и элементарное чувство справедливости делает необходимым выявление и осуждение конкретных виновных в совершении этих тяжких преступлений, в противном случае оно ляжет тяжелым бременем на Советское государство в целом, безусловно, окажет отрицательное влияние на намеченный прогресс, перестройку и демократизацию нашего общества.

В такой ситуации необходимо безукоризненное соблюдение требований ст. 119 Конституции Грузинской ССР, согласно которой «все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Верховного Совета Грузинской ССР, представлять им необходимые материалы и документы».

Открытое письмо генерал-полковнику Родионову Игорю Николаевичу

Согласно ст. 119 Конституции Грузинской ССР, «все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Верховного Совета Грузинской ССР, представлять им необходимые материалы и документы», однако вы не соблюдаете эти элементарные конституционные требования и тем самым затрудняете работу комиссии. Вы отказали в передаче соответствующих материалов члену комиссии академику АН Грузинской ССР, генерал-лейтенанту И. И. Джорджадзе, а также не приняли для беседы члена группы народных депутатов СССР по обеспечению взаимосвязей, народного депутата СССР академика А. Д. Сахарова.

Комиссия категорически требует от вас представить уполномоченным комиссией лицам необходимые материалы и документы и дать соответствующие объяснения комиссии.

**КОМИССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИМЕВШИХ
МЕСТО 9 АПРЕЛЯ 1989 ГОДА В ГОРОДЕ ТБИЛИСИ.**



Игорь БОГОМОЛОВ

„ТИФЛИС“ ИЛИ ТБИЛИСИ?

В последнее время все большее внимание нашей общественности привлекают проблемы грузинской культуры, языка, истории. В этой связи важное значение приобретают и вопросы топонимики, которые требуют особо бережного отношения, ибо в ней зафиксированы исторические явления и реалии, самобытность национального характера, неповторимость традиций, нравов, быта и обычаев грузинского народа, его исторический опыт.

Известно, что на протяжении веков предпринималось немало попыток изменить национальную топонимику в угоду различного рода интересам, языковым возможностям других народов, навязать свое понимание и толкование. Такая разрушительная «работа» велась как иноземными завоевателями, так и царскими чиновниками — проповедниками русификаторско-колониальной политики самодержавия на Кавказе. Казалось бы, давно уже настало время снять все имеющиеся наслоения, восстановить в первоизданном виде национально-историческую топонимику. К сожалению, этого не происходит, в чем прежде всего виноваты мы сами. Зачем далеко ходить, если даже исконное название столицы Грузии и ныне употребляется в различной модификации. В частности, во многих из тех книг, работ и статей (в том числе и грузинских авторов), опубликованных в Грузии на русском языке, где речь идет о дореволюционном периоде, город наш именуется Тифлисом. Надо ли удивляться после этого, что в работах и статьях русских авторов, как и авторов из других братских республик, это название, можно сказать, узаконилось, стало нормой: «древний Тифлис» «тифлисский период жизни и творчества», «тифлисская общественность», «тифлисская пресса», «тифлисский театр» и т. д., и т. п.

Обе формы названия города соседствуют и в русской литературе. Это вызывает удивление особенно тогда, когда мы имеем дело с советской и даже современной нам литературой.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров из русской поэзии. Поэты старшего поколения имели свои пристрастия в употреблении этого топонима. Для одних — это был Тифлис: В. Маяковский («Владикавказ — Тифлис»), В. Каменский («Тифлис», «Не могу без Тифлиса»), О. Мандельштам («Мне Тифлис горбатый снится...»), А. Жаров («Тифлис») и т. д., а для других — Тбилиси: Н. Заболоцкий («Тбилисские ночи»), П. Антокольский («Тбилисская ночь»), В. Державин («Встреча с Тбилиси») и др. Б. Лившиц употреблял параллельно оба топонима («Тбилиси» и «Тифлиссские терцины»), равно, как и Н. Тихонов («Моим гортанным толмачом был сам Тифлис...» и «Ночного Тбилиси огни...»).

Теперь обратимся к творчеству поэтов, принадлежавших к более молодым поколениям. В стихотворениях А. Цыбулевского, наряду со стабильным употреблением грузинского топонима (Тбилиси), встречаем и выражения вроде «тифлисский двор», а у М. Синельникова, также, как правило, употребляющего наименование Тбилиси — «переплетенный закатом Тифлис» и даже название стихотворения — «Шарден в Тифлисе».

Странное с топонимической точки зрения впечатление производит следующее место из стихотворения И. Дадашидзе «Вот гляжу с нагорной выси...»:

Вот гляжу с нагорной выси,
Обрывающейся вниз,
На распахнутый Тбилиси,
На теснящийся Тифлис.

Даже такой прекрасный знаток Грузии, ее культуры и истории, как Б. Ахмадулина, порой оговаривается (в стихотворении «Тифлис»: «Без Тифлиса жила, по Тифлису томясь...», «Позволь умереть за тебя, мой Тифлис, моя радость!..»). А вот что говорится в другом ее стихотворении:

Тифлис, не знаю, невдомек —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидывшем большеголовым?

Как видим, Тифлисом уже, видимо, по привычке именуют столицу Грузии даже тогда, когда речь идет о нашей современности. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я привел эти, далеко не исчерпывающие примеры не для того, чтобы взять под сомнение идейно-художественные достоинства названных

произведений, которые давно уже по праву заняли почетное место в летописи русско-грузинских литературных ^{взаимо-}связей. Более того, я выбрал в качестве иллюстраций, ^{пожалуй,} лучшие произведения, посвященные столице Грузии. Однако и в них, как видим, наблюдается разительный разноречивый, вызывающий откровенное недоумение.

Предвижу возражения предполагаемого оппонента: столица Грузии именовалась в прошлом Тифлисом и поэтому, когда речь заходит о прошлом или старом городе, надо употреблять старую форму названия. Но позвольте, кто и когда переименовывал столицу Грузии? Постараюсь очень кратко ответить на этот вопрос.

Известно, что Тбилиси является одним из древнейших городов мира. Как доказывают находки археологов (в основном нумизматические) еще в III—II вв. до нашей эры Тбилиси вел интенсивную торговлю с Парфянским и Боспорским царствами. Выгодное стратегическое месторасположение обусловило превращение Тбилиси в царствование Вараз-Бакара (379—393) в «город-крепость». Так он уже именуется в древнейшей хронике «Мокцевай Картлисай» — «Обращение Грузии». Общеизвестно и то, что царскую резиденцию из Мцхета в Тбилиси перенес Вахтанг Горгасали (446—502). По традиции считается, что сделал он это в 458 году, что позволило некоторым недалеким людям в 1958 году отметить «1500-летие Тбилиси». Именно с их легкой руки пошли гулять по разного рода справочникам и изданиям расхожие фразы о «1500-летию со дня рождения Тбилиси», о «пятнадцативековой истории города» и т. п. Тут упускается из вида одна принципиально важная деталь — более чем пятнадцать веков Тбилиси является **столицей Грузии**, а не существует вообще.

Однако вернемся к названию города. С самого же начала он по-грузински именовался Тбилиси. И название это произошло от слова «тбили» («теплый»). Несомненно, что именно от чудесных теплых источников идет название нашего города, и это зафиксировано не только в различных легендах, но и в документах, начиная с древних летописей. Вот что сообщает, к примеру, летописец «Картлис цховреба» («Житие Грузии»), говоря об эпохе Вахтанга Горгасали: «Мцхета редела, а **Тбилиси** усиливался; Армази разорялся, а Кала отстраивалась». По словам летописца Джуаншера, наследник Вахтанга царь Дачи Уджармели в начале VI века «закончил стены **Тбилиси** и, как было велено отцом, оформил его в дом царский».

Поскольку исконное название города Тбилиси было труд-

нопроизносимо (прежде всего из-за сочетания необычных для других языков звуков «*o*» и «*z*»), оно при передаче либо искажалось, либо модернизировалось на соответствующий языковый манер. Так, римский географ Касториус, составивший карту торговых дорог и городов, отметил на ней столицу Грузии под названием **Тбиладо**. Византийский историк VI века Феофан писал, что «столицей иберов был **Типилиси**». Знаменитый Марко Поло отметил, что в Грузии «есть прекрасный город по имени **Типилис**, окруженный предместьями и множеством твердынь». А римский папа Иоанн XXII в своих письмах, датированных 1328—1329 гг., называл наш город **Тефелисом**. Можно привести, разумеется, и другие примеры, однако все они свидетельствуют только об одном — различные иноязычные передачи названия города имели основанием его грузинский топоним.

Вся эта топонимическая чехарда порой создавала почву для некоторых тенденциозных и даже невежественно-дремучих «суждений». Напомню, в частности, что некий кандидат исторических наук В. Иванов опубликовал в 1977 году в журнале «Техника — молодежи» (№ 8) статью «След светоносных», в которой с легкостью в мыслях необыкновенной заявил, не мудрствуя лукаво, что название нашего города произошло от слова «теплица» (!?).

А теперь бросим ретроспективный взгляд на историю передачи топонима Тбилиси на русский язык.

В русских источниках столица Грузии впервые упоминается в Никоновском списке летописи (XIII век) под названием **Тефлизи**. Как видим, «*o*z» превращается в «теф». В дальнейшем это название еще более трансформируется, принаравливаясь к русскому произношению. Так, В. Гагара, который отправился в 1634 году в Палестину, посетив по пути Грузию, описал свое путешествие в «Житии и хождении в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары», где название нашего города фигурирует уже как **Тефлис**. Наконец, А. Суханов, дважды посетивший Грузию в 1636 и 1652 гг., называет ее столицу в «Проскинитарии» (поклоннике) **Тифлисом**. Такая форма топонимики оказалась, очевидно, наиболее удобной для русского произношения и с этого времени стала устойчиво употребляться в русских источниках. Именно **Тифлисом** именуется столица Грузии и в русских печатных изданиях, начиная с первой книги о нашей стране Е. Болховитинова «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии», изданной в Петербурге в 1802 году. Кни-

га эта приобрела широкую популярность. Ею пользовались русские и европейские ученые (Н. Карамзин, Мари Броссе, Сен-Мартен и др.), в труды которых и переходил зачастую интересующий нас топоним в русской модификации.

В этом, разумеется, нет ничего удивительного, ибо каждый народ может воспринимать иноязычную топонимику по-своему. Удивительное заключается в том, что после присоединения Восточно-Грузинского царства к России в 1801 году, его одним самодержавно-колонизаторским росчерком пера переименовали в Тифлисскую губернию, к которой впоследствии прибавилась Кутаисская губерния. Естественно, что и административный центр, где располагалась резиденция главнокомандующего русскими войсками на Кавказе, а с 1845 года — наместника русского царя, стал именоваться удобопроизносимым по-русски и поэтому уже узаконившимся топонимом Тифлис. Так были стерты с официальной карты Российской империи такие исторические топонимы, как Грузия и Тбилиси. Не потому ли В. Г. Белинский говорил в своих статьях лишь о Кавказе, зачастую подразумевая Грузию, а Н. В. Гоголь употребил общую форму «юг» («южные») применительно к грузинским произведениям А. С. Пушкина?

Все это нашло отражение во многих областях жизни страны. Возьмем, к примеру, журналистику. Даже из названий газет и журналов вытравлялись указанные топонимы. Если исключить «Картули газети» («Грузинскую газету»), которая издавалась в 1819—1821 гг. и публиковала преимущественно лишь официальные сообщения, то названия всех остальных изданий прошлого столетия имели очень уж мало общего и с Грузией, и с Тбилиси (собственно, и «Картули газети» была всего лишь «Грузинской газетой», а не «Газетой Грузии»). Напомню эти названия — «Тифлиссские ведомости», «Закавказский вестник», «Кавказ», «Дрозба» («Время»), «Кавказская старина», «Новое обозрение», «Обзор», «Тифлиссский листок», «Цискари» («Заря»), «Квали» («Борозда»), «Джеджили» («Всходы»), «Кавказская жизнь», «Цнобис пурцели» («Листок справок»), «Моамбе» («Вестник»), «Закавказское обозрение», «Сахалхо газети» («Народная газета»), «Закавказская речь», «Ганатлеба» («Просвещение»), «Гусли» и т. д. Только Илье Чавчавадзе удалось пробить брешь в этой глухой стене своими знаменитыми изданиями — «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии») и «Иверия».

В угоду колониальной политике самодержавия искажалась не только топонимика (Кутаис, Казбек, Кашаур, Душет, Паса-

канур или Пайсанур, Цхет или Мцхет, Телава, Алгетла, Врагла, Цинондалы или Цинундалы, Ахалцик, Шуливерь, Дариель, Метинский бастион, Гомбора и т. п.), но даже фамилии выдающихся деятелей (А. Чавчавадзе, Г. Орбелианов, Н. Баратов, Г. Эристов и т. д.).

Однако все, о чем говорилось выше, относится лишь к официальным документам и к русской подцензурной прессе. В грузинских же изданиях, книгах, художественных и эпистолярных произведениях, короче, как в письменной, так и в устной речи неизменно употреблялась только лишь исконная национально-историческая топонимика. Создавалась парадоксальная ситуация, когда в периодических изданиях, письмах, произведениях, опубликованных на грузинском языке, употреблялся топоним Тбилиси, а на русском — Тифлис. Всего лишь один пример. В своей известной статье «Сто лет», опубликованной в «Иверии», И. Чавчавадзе писал: «Наша столица **Тбилиси**, перенесшая жестокое опустошение и разграбление, оставалась краем разрушения и развала». Примерно в то же время Г. Туманишвили написал на русском языке статью о Грибоедове, в которой был вынужден применить уже другой топоним: «Вспомним празднества в **Тифлисе** в 1879 г., в день пятидесятилетия его кончины; празднества эти были не эффективными фейерверками среди монотонной жизни **Тифлиса**, а оставили вечный след и еще более увековечили имя гениального писателя». Как видим, все зависело лишь от того, на каком языке предназначалась к публикации та или иная статья.

Однако это вовсе не означает, что великие русские писатели отказались от известной им исторической топонимики. И Пушкин, и Лермонтов, и Полонский, и многие другие писатели посвящали свои произведения не Тифлисской губернии, а Грузии («Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...», «Горная дорога в Грузии», «Грузинская ночь» и мн. др.). Характерно, что уже Пушкин, в общей сложности три недели пробывший в Грузии, попытался дать читателю своего «Путешествия в Арзрум» (1836) правильное представление о происхождении и звучании названия столицы Грузии. «Самое его название (**Тбилис-калар**)¹ значит жаркий город», — писал он в обход официально принятой топонимике.

Победа Советской власти в Грузии расставила все точки над «i», узаконив исторический топоним в Конституции Грузин-

¹ Должно быть Тбили калаки. (И. Б.).

свой Республики. Поэтому называть столицу Грузии Тифлисом в наше время, мягко говоря, неправильно. Вряд ли кому-нибудь сегодня придет в голову написать, скажем, такую фразу: «Цинундалцы через Телаву проследовали к берегам Враглы», или же называть свои статьи «Грибоедов в Тифлисской губернии», «Дариель в творчестве Пушкина» и т. п. А вот «Пушкин в Тифлисе» — пишут и даже подписывают так живописные полотна, отображающие пребывание великого русского поэта в столице Грузии. Разумеется, цитаты мы не вправе изменить (я, например, к таким цитатам даю следующее пояснение в сноске: «Название Тифлис, как и другие, — искаженное от исконного — Тбилиси». См.: «Пушкинские места», ч. II, М., «Профиздат», с. 238). Но, когда мы пишем от себя, необходимо употреблять в авторской речи только исконную историческую топонимику: «Пушкин в Тбилиси», «тбилисский период в жизни и творчестве Полонского». «Ахундов на сцене тбилисского театра», «Сундукян и тбилисская общественность» и т. д., и т. п. Я уже не говорю о том, что следует писать не Цхет, а Мцхета; не Алгетла, а Алгети; не Врагла, а Арагви; не Метинский бастин, а Метехи; не Пасаканур, а Пасанаури и т. д. и т. п. Не говорю потому, что так давно уже никто не пишет. Пора это правило применить и по отношению к столице Грузии, которая именовалась, именуется и будет именоваться — Тбилиси.



КОНТРОЛЬНЫЕ
ЭКЗЕМПЛЯРЫ

317
12.VI 1989

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили
Корректор Т. Бадриашвили

Сдано в набор 24.03.89 г. Подписано к печати 17.05.89 г.
УЭ 08855. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.
л. 14,0. Тираж 6 200. Заказ 732. Цена 65 коп.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства
ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина 14.

26-89

89-317

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

65 კ.

ИНДЕКС 76117

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

